СНЫ

Надежда
Ажгихина

АИРО-XXI
Москва

Надежда Ажгихина

С Н Ы

Москва
АИРО-XXI
2022

ББК 84(2=411.2)6-44
УДК 821.161.1-3
А 34
Ажгихина Надежда. Сны. — Москва: АИРО-XXI, 2022. — 222 с.

Книга издана при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации
и техническом содействии Союза российских писателей

«Сны» — третья книги прозы известной журналистки Надежды Ажгихиной. Героини её новелл — жительницы мегаполисов и небольших городов, достигшие успеха в карьере и неудачницы, у них разные судьбы и несхожие характеры. Но все они не оставляют мечту о счастье, которое непременно случится. Мини-повесть «Короткие встречи» посвящена ушедшим друзьям автора.

Дизайн обложки — Наталья Биттен
Верстка — Ирина Матушкина
Корректура — Наталья Захаровская

ISBN 978-5-91022-549-1

© Ажгихина Н., 2022
© Обложка: Биттен Н., 2022

Содержание

ДЕТСТВО. ДОРОГА. СНЫ 4
НОВОСТИ ЖЕНСКОГО РОДА 16
ПИНА-МАРИНА 32
«РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ» 44
ДЕНЬ ПОБЕДЫ 64
МИША ГРИНИН 80
ДЕВОЧКА С ПТИЦАМИ 96
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 111
ПОЧЕМУ МЫ ЕЁ НЕ ЗНАЛИ? 129
ЗИНА И ЭТИЧКА 143
СЧАСТЛИВАЯ 155
СЛЕДОПЫТ 163
КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ 174
Венок из одуванчиков 174
Катя, моя американская сестра 178
Бессмертная любовь 185
Джейми 188
Димыч 195
Всё обойдётся 199
Ольгин ковчег 210
Вещая птица 217

ДЕТСТВО. ДОРОГА. СНЫ

Тени на стене приходят в движение: это ветер шевелит ветки дерева, раскачивается фонарь, и над моей кроваткой кружатся причудливые линии и знаки, наползающие друг на друга и меняющие очертания, так что никак не успеваю угадать, на что они похожи — то ли косматая еловая ветка над входом в пещеру Михеля-Великана, то ли зонтик Оле Лукойе, то ли волшебные сани, которые унесут меня в чудесную страну, оставив позади только взвихренные снежные искры… Ковёр-самолет? Нет, точно, сани, они приостановились и ждут, когда я запрыгну… Сердце колотится, мне страшно, и в то же время я понимаю, что не могу не прыгнуть, даже если меня увлекут неведомо куда, даже мама меня не найдёт… А вдруг всё же найдёт? Тогда не страшно. Я уже не вижу теней, я слышу, как белые кони цокают копытами, как завывает ветер, готовый поднять меня во взвихренное пространство и унести. Я понимаю, что точно не вернусь, и в последний момент хватаюсь за прутья кроватки и кричу изо всех сил: «Мама!» Кажется, у меня нет голоса, по крайней мере, я слышу только слабое хлюпанье, горло раздирает боль, из носа течёт, я обливаюсь потом и трясу что есть мочи кроватку, отталкиваясь от стенки. За дверью голоса — звонкий мамин, низкий папин, бабушкин, дедушкин, чей-то ещё. В ноздри, из которых вытекли уже все сопли, вдруг ударяет острый запах хвои, как будто прокалывает и нос, и нёбо, застревая под язычком. Ёлка! Там поставили ёлку! А как же шары? Почему я тут лежу? Я пытаюсь выбраться из кроватки, упираюсь в стену коленями и пытаюсь отодвинуться, чтобы пролезть в образовавшуюся щель, мне почти удается расширить путь к побегу… Запах ёлки заполняет всю комнату, высушивает слёзы, успокаивает

боль в горле, от него по спине ползут щекотные мурашки, хочется пить и бежать, бежать туда, где она стоит…

Меня застигают уже под кроватью, переодевают, удивляются, что жар прошёл, и, в виде исключения и под влиянием моих воплей, водворяют в большую комнату за стол, где дымятся пельмени, сочится квашеная капуста, торжествуют мандарины, но все эти исключительно приятные и ароматные вещи, которые я бы, несомненно, оценила в другой момент, не имеют значения: у окна стоит ёлка и оглушает меня хвойным и смолистым великолепием. Матовые бусы и сказочные фигурки из папье-маше, яркий серпантин и мерцающий дождь с мишурой, и круглые шары отражаются в соседних пузатых собратьях…

Я боюсь пошевелиться, я впитываю её запах всеми ноздрями, глазами, ушами, каждой клеточкой. Смолистый терпкий субстрат разливается по кровеносным сосудам: я вся — в ней, с ней и напитываюсь её силой и влагой и понимаю, что здесь, в её игольчатых ветвях, и есть самое чудесное и захватывающее — не в холодном белом вихре, который едва не унес меня, но в темноте ее недр, отороченный сверкающими бликами стеклянных сфер

и бумажными флажками и выхваченными из разных эпох и исчезнувших

жизней волчками, пингвинами, мельницами с мельниками и царевнами… Застолье гудит, я незаметно сползаю со стула и пробираюсь, стараясь не задеть ничьих ног, к ёлке, притуляюсь у деревянной крестовины, обняв плюшевого медведя и пластмассовую Снегурочку, и затихаю…

Наутро все радуются, что я поправилась, наряжают меня в белые чулки и синее платьице, повязывают бант и ведут к ёлке. На том месте, где я заснула, меня ожидает красивая коробка, в ней — настоящая немецкая кукла с хлопающими голубыми глазами и книжка с картинками, «Остров сокровищ» Стивенсона. По этой книжке скоро я буду сама учиться читать.

В последние дни ковида, между явью и сном, когда граница между бредом и реальным безумием практически неуловима и сознание, измученное ежедневным соитием с монстрами и убийственным соучастием в повседневных злодеяниях современного мира, почти отказывается возвращаться в осаждённый вирусом организм, кажется, день на двадцатый (самый критический, как считают медики) я вдруг неожиданно почувствовала острый и пряный запах хвои, который буквально обжёг ноздри. Сначала подумала, что это очередной глюк — обоняние покинуло меня давно и прочно. Но запах не проходил. Я с трудом встала, набросила халат, держась за мебель, прошла на кухню. В нос ударил запах лекарств и хлорки. Открыла холодильник, из него немедленно вытек и распространился по кухне острый дух бельгийского сыра, который я привезла из последней командировки, — меня чуть не стошнило. Нюх вернулся! И в то же время запах ёлки не исчезал. Пошатываясь, я вышла на балкон. В предрассветном сумраке светились башни Москва-сити, реклама Samsung и ВТБ, проекция российского флага и бегущая строка риэлторского агентства. Я нашла сигарету, попыталась закурить, закашлялась от едкого дыма, как в первый раз, когда пробовала курить с одноклассниками здесь неподалеку, в школьном садике на Малой Дорогомиловской. Сломала сигарету. Во рту ощущался вкус еловой смолы, в ноздри отчётливо бил великолепный и живительный хвойный запах. Впервые за многие дни глубоко вдохнула чудесный осенний воздух: я жива! И жизнь, которую мы клянём и бесконечно испытываем, восхитительно прекрасна! И подумала: как было бы хорошо рассказать об этом маме…

Первое, что я помню, — это поезд, стук колес, я потею во влажных простынях на верхней полке, хочу в туалет и боюсь об этом сказать, кажется, у меня уже поднялась температура. Мне два года, мы едем в Москву из Сибири. Хотя, возможно, я всё это придумала (точнее, увидела, как будто наяву) уже позже, когда слышала о нашем

концептуальном семейном перемещении от бабушки и мамы — многократно, пока они готовили мне чай с вареньем, микстуру или травяной настой от кашля. Болела я всё время, повсюду, зимой и летом — разбивала в кровь коленки и локти, ушибалась, падала в обморок, страдала мигренью (была позже горда, узнав, что это такое), отравлялась, но чаще всего простывала. Даже в клинике, куда меня привезли удалить наконец зловредные гланды (такая мода была тогда), умудрилась простудиться в первый же день на прогулке и неделю провела в боксе. Запах лекарств был привычным, как запах сена для деревенских детей. Как пахло сено, я, кстати, не помню, хотя в посёлке, где росла, на соседней улице старьевщик и его жена держали корову (мы брали у них молоко) и точно косили траву. Про сено и полевое раздолье я читала в книжке «Родные поэты». Она до сих пор где-то в книжном шкафу, сохранившемся также с того самого времени.

Точно помню момент, когда отступает болезнь. Сначала сквозь муть, тошноту, отвращение к жалкому собственному телу и его отправлениям — робкие предвестники облегчения: перестают слезиться и болеть глаза, горло ещё першит, и нос не дышит, но в запястье где-то уже пульсирует предчувствие. Предметы в комнате обретают цвет и объём, проступают запахи — капель, нашатыря, хлорки, и внезапно всё сметает неожиданно ворвавшийся в комнату великолепный аромат свежего куриного бульона…

Мне снится, что я неловко села и у меня из-под платья высовываются не прикрытые чулками голые ляжки — тянущий ужас стыда. Колготки появились потом, а до этого какое-то время ходила в чулках с пажами; зимой на сё это натягивала рейтузы — всё некрасивое, неуютное. Чувство скованности, неправильно подобранного размера. (Впрочем, мой объём, несмотря на рост, всегда был недостаточным — несколько лет в классе была не только самая высокая, но и самая тощая и, когда поняла, что у меня не растёт, как у других девочек, грудь, окончательно

уверилась в собственной физической неполноценности.) Всё, что связано с телом, его впечатлениями и проявлениями, — мучительно и нежеланно, некрасиво, не обустроено, негармонично; это устойчивое убеждение иногда опрокидывает спонтанный восторг от простой ходьбы по земле, свежего утра, солнца…

Первые сведения о сексуальных отношениях, почерпнутые из медицинских журналов, краткой информации дедушки о физиологическом строении человеческих особей и косноязычных рассказов одноклассников поселковой школы, никакого впечатления не произвели, равно как и нестандартный эксперимент, к которому меня, кажется, в первом классе привлекли как хорошего товарища двое мальчишек — они сняли штаны и травинкой щекотали свои незрелые пенисы. Я в мероприятии участия не принимала (благоразумно отказалась присоединиться и пощекотать свой член), но и не выказала никакого удивления, хотя видела до того только крошечный орган новорождённого двоюродного брата. Я была умнее и знала, что у некоторых детей пенисов нет. Женщиной, однако, я совершенно не хотела становиться. Менструация, грязная вата, боль в животе — это совершенно не привлекало; я лет в десять фантазировала, что у меня вообще такого не будет, обойдусь. И во сне не раз видела себя сразу с двумя членами — они торчали в разные стороны, как колокольчики.

Общество мальчиков тем не менее меня интересовало, но своеобразно: мне нравилось играть с ними в футбол (за что была ругана неоднократно бабушкой), бегать, кататься на велосипеде — больше, чем с девчонками. И хотя к куклам у меня сложилось своё (покровительственное) отношение и я придумывала их жизнь в различных вариациях, девчоночьи игры мне были не так интересны. Впрочем, в детский сад я не ходила по причине его отсутствия в посёлке, со сверстниками до школы общалась мало, а в школе слишком часто болела и, уже по одному этому, не имела шанса стать душой компании. Но

главное — рядом был другой, куда более интересный, чем наш поселковый, мир.

«Остров сокровищ» родители мне по очереди читали вслух — почему-то в лесу. Уже после смерти мамы догадалась: им просто больше негде было поговорить о своём, без посторонних. Они постоянно отвлекались, а я требовала продолжать, они сердились, и я никак не могла дождаться новой главы… В нетерпении, обливаясь слезами от муки непривычного труда и обиды, прочитала недослушанную глава сама…

Слова отделялись от страницы, обретали собственную судьбу, превращались в образы, сменяющие друг друга, им совершенно не тесно было всем вместе в просторной комнате подмосковного дома, они увлекали в таинственные путешествия, открывали глубины и высоты, о которых, кажется, и не слышали наши соседи или поселковые сверстники. Продолжения приключений я видела во сне. Иногда так и засыпала за столом — сидя, положив голову на раскрытую книгу…

«Сапоги снятся к этапу» — услышала через закрытую дверь, когда среди ночи пробиралась в туалет, разговор отца и дедушки. Они, когда отец приезжал к нам на выходные, запирались в дальней комнате: иногда громко спорили, мама тогда заходила к ним и просила «приглушить звук». Трещал и хрипел радиоприёмник «Спидола», сквозь треск и свист прорывались мужские и женские голоса, тревожные, обрывки фраз и названий — сектор Газа, Тайвань, Вьетконг, Фишер, Солженицын… Утром я спросила маму, что такое этап, — она перевела разговор на что-что-то другое и увела меня гулять. Только в десятом классе я узнала, что отец с первого курса педагогического попал на шесть лет в ГУЛАГ. Именно там, в лазарете, познакомился с австрийским врачом, который взял его к себе санитаром и после смерти Сталина и амнистии убедил поступать в медицинский, а не возвращаться в педагогический. В лагере папе поставили пломбу, которая держалась до самой его смерти.

Дом в посёлке: дедушка болеет, бабушка, парторг местной ячейки проводит политинформации, выписывает цитаты из журнала «Коммунист» — мы вообще выписываем множество изданий, научно-популярных, литературных, педагогических. Родители — в Москве, куда меня не часто вывозят (там комната в коммуналке на окраине), и до шестого класса я учусь здесь. К нам приезжают родственники, те, которые из Сибири, их новые и бывшие родственники со своими друзьями — покататься на лыжах, выпить и закусить, послушать магнитофон: у нас модный «Днипро» — его дядя привёз из Якутии — и плёнки Окуджавы, Кукина, Клячкина. «У Геркулесовых столбов», «Пилигримы»… Приезжает московский двоюродный дедушка Иосиф, фронтовик, герой ещё гражданской войны, и его жена — тётя Таля, всегда модная и томная, и их дочь Галина, тоже фронтовичка. На самом деле, Галя — приёмная дочь: её отец и бывший муж тёти Тали, белый офицер, бросил жену с новорождённым ребёнком, когда наступали красные, а двадцатилетний мой двоюродный дедушка влюбился в Талю и удочерил девочку… Девочка дошла до Берлина зенитчицей и после войны вышла замуж за студента, на десять лет моложе, тогда это была редкость; теперь он министр в Белоруссии…

Бездомные собаки в посёлке, особенно в парке, через который я хожу на уроки фортепьяно, кооперативная лавка, где продавали керосин в розлив, продуктовый (масло и мясо заворачивали в толстую бумагу, макароны засыпали прямо в матерчатые сумки); сосед продавал украденные в военной части краны и гайки для водопровода, который наконец протянули в каждый дом, потом протянули и газ… Вода шла рыжая…

Записка, которую мне написал мальчик из параллельного класса на совместном уроке: он из военного городка, приехал из Исландии, есть такая страна, его фамилия Русаков… Почему я его помню? Я забыла многих близких когда-то людей, а с ним не виделась больше никогда, но помню его вязаный свитер, его пшеничную чёлку…

Мама вырезала репродукцию из журнала «Огонёк» и положила на тумбочку у зеркала. И рассказывала мне о том, как художник в детстве был заворожён бродячими циркачами, наблюдал за ними, как приехал из родной Испании в Париж, познакомился с цирковыми артистами, хотел писать семью циркачей и мальчика-акробата. А потом мальчик в воображении художника превратился в девочку, и именно эта девочка стала символом лёгкости и творчества. После работы раз в неделю она ходила на лекции в Пушкинский музей, рассказывала о картинах, которые обязательно хотела мне показать. Бабушка сердилась, когда мама задерживалась, недоумевала, почему та не спешит из своего конструкторского бюро сразу на электричку к нам, а едет куда-то ещё; живопись понимала только классическую и привезла из Сибири репродукцию в тяжёлой раме под бронзу — Шишкин «Мишки в лесу». А мама любила импрессионистов. И мечтала побывать в Париже — «Увидеть Париж и умереть». Когда она заболела, я думала: вот поправится, и мы непременно купим туристическую путёвку, их уже начали тогда продавать свободно…

Когда мамы не стало, я перестала спать. Глотала таблетки, запивала коньяком, в тяжёлом забытьи бежала к маме, но она исчезала, а холодные снежные потоки закручивали меня в чёрную воронку, и я просыпалась в ужасе, понимая, что мир раскололся и я никак не могу собрать его осколки…

Дорога — это не просто перемещение в пространстве, это настоящая жизнь! Я долгие недели ждала, пока мы с родителями поедем вместе в Москву, в общежитие, где жил вместе с настоящим негром отец, потом в нашу коммуналку, в гости к дяде Иосифу, в парк Горького, в детский театр и, конечно, на Красную площадь в День Победы. Отпуск — это было настоящее путешествие: поезд, самолёт, горный серпантин или катер, это расширение пространства, это неведомые миры…

Моя немощь приносит родителям массу неудобств. Каждый раз, когда им удаётся вместе со мной куда-то уехать — в Севастополь к папиному бывшему однокласснику, капитану военного корабля, на Волгу или в Пятигорск к его коллегам, в Кишинев или Юрмалу, я всегда заболеваю; в машине меня непременно вырвет, в гостях начинается мигрень, колики в животе или неожиданное сердцебиение. Вокруг меня хлопочут, укладывают, заматывают голову полотенцем, поят лекарствами, и бедная мама вместо того, чтобы наконец радоваться дружескому застолью, часами сидит у моей кровати.

— Ты совершенно не приспособлена к бивуачной жизни, — сказала она, когда мне было лет двенадцать и у меня не к месту начались месячные. — Не создана для неё.

В первую командировку она провожала меня в аэропорт. У меня начиналась простуда, которую я изо всех сил пыталась скрыть.

…Шестилетний сын наряжает ёлку в бабушкином доме. В комнату проникает жар от кухонной духовки, всё отчетливее запах пирогов, мандаринов, извлечённых из подполья солений. Бабушка накрывает лист с только что подоспевшими пирогами полотенцем и ставит в печку рулет с черёмухой, фирменный, сибирский, — черёмуху присылают из Анжеро-Судженска, где она родилась и проработала 25 лет на шахте главным геологом. К 1938 году, когда родилась моя мама, после чисток не осталось никого из старых специалистов, и девочка из рабочей семьи подпольщиков и участников гражданской войны, по направлению партии, заняла огромный кабинет репрессированного. Первым делом она запретила участникам совещаний использовать крепкие выражения. И при ней не матерились…

Сын аккуратно выстраивает Дедов Морозов по росту (их полдюжины, разного возраста, от привезённых ещё из далёкого Анжеро-Судженска до недавно подаренных), бе-

рёт в руки шар и, глядя на него, замирает, будто видит нечто чрезвычайно значительное.

— Что ты хочешь попросить у этих Дедов, — спрашивает его отец.

Сын бережно водружает шар на колючую ветку.

— Чтобы он оживил всех тех, кто умер. Даже тех, кого сожгли на костре.

— И кого же в первую очередь? — интересуется отец.

— Пушкина и его няню. Лермонтова и его няню. Ещё Марину Цветаеву. И Анну Ахматову. А потом подумаю.

Сон и явь. Проникающие друг в друга, как краски и воздух на картинах импрессионистов. Сон продолжается после пробуждения, не исчезает... Потом я читала об этом у Павича. Сон в руку?

Что умрёт дедушка, я поняла во сне. Он шёл на поправку, лежал в соседней комнате, а я, наоборот, мучилась корью, и ко мне каждый день приходила медсестра делать уколы... Я проснулась и долго лежала, обливаясь потом, в оцепенении, не понимая, что происходит. Дедушка ушёл на следующий день. Это была первая смерть, с которой я столкнулась близко. Мне было десять.

Сны всегда цветные. Страшные и не очень, и продолжение жизни героев только что прочитанных книг. Фильмы, которые разворачиваются во сне. Я знаю, что это кино, но я тут и режиссёр, и персонаж, и зритель, а сюжет развивается независимо от меня, и жанры меняются, незаметно перетекая друг в друга...

Говорят, Менделееву приснилась его периодическая таблица. Мне снились Айвенго, Ассоль и маленькая балеринка, танцующая в вихрях метели на тонкой невидимой проволоке из протянувшихся между влюблёнными мыслей друг о друге; она соединяет мир волшебства и мир обычный и приносит счастье...

Иногда мне кажется, что сны намного более реальны, чем настоящие события. Вспоминаю очертания площадей и улиц, аэропортов, вокзалов, городов, стран, где я ходила, куда приезжала и прилетала, и всё это представля-

ется если не сном, то по крайней мере продукцией кинематографа. Лица великих и самых обычных людей, с которыми встречалась в разные годы, и фантастически прекрасные лица вокруг Белого дома в последний день путча — там не было ни одного некрасивого! — и огненный закат, заливший одуряющим светом Москву. Дым над расстрелянным Белым домом, который я видела из окна палаты клиники Склифасовского, где лежал мой коллега, раненный при обстреле Останкино, и на соседних койках — раненые парни, которые приехали его убивать… Ужас понимания того, что свершилось непоправимое, что после этого уже невозможно то, о чём мечтали, к чему стремились… Лица польской официантки, литовского сотрудника «Аэрофлота» и украинского таксиста, которые старались помочь мне поскорее прилететь из Варшавы в Москву этим февральским утром… Прокрученная, как киноплёнка в ускоренном темпе, огромная всеобщая жизнь страны и крошечная частная моя, превратившаяся вдруг в смытую плёнку, как смывали не понравившиеся худсовету фильмы на советских студиях…

Миры разлетелись в разные стороны. Утратили связь. Явь стала сном. Сон перестал быть вещим. Ковид повредил когнитивный аппарат не только тех, кто болел, но и тех, кто сидел в изоляции, и всех-всех. Универсальный экскьюз. Вы стали ненавидеть тех, кого любили вчера? Думаете, как их лучше придушить/прирезать/отравить/прибить? Это же постковидный синдром! Таблеточку — сейчас все принимают. Не спите? Тройную дозу, не думайте ни о чём… Не нервничайте… Пусть всё летит в тартарары… Если бы ковида не было, его надо было бы выдумать…

…Разбираю книги и мелочи из трёх квартир и бумаги с трёх работ, сваленные в огромные коробки, пакеты, мешки и ящики в пристройке бабушкиного дома. Теперь моего. Нахожу вещи, о которых давно забыла, письма, о которых никогда не знала, фотографии близких и дальних, любимых и случайных, брошки, значки, поздрави-

тельные открытки, хранящие почерк давно ушедших. Замираю надолго над некоторыми. Стараюсь не плакать. Цепенею.

Прозрачные пластиковые контейнеры помогают преобразовать хаос в подобие архива. Всё это медленно. Иногда, скорее от малодушия, прошу помочь соседку. Соседка побуждает меня «избавиться от хлама»: мы препираемся, я в ужасе закрываю своим телом хрупкие листки и предметы. Спасла тронутую мышами коробку, из которой высыпались вырезки разных лет — выкройки из «Работницы», страницы отрывного календаря с рецептами, репродукции импрессионистов из «Огонька» и — «Девочка на шаре»…

Спасла и пакет со старыми ёлочными игрушками (которые помощница, добрая душа, уже вытащила для утилизации) и аккуратно упаковала в очередной пластиковый контейнер: выцветшие флажки, бусы, Деды Морозы разного калибра. И, конечно, шары, каждый осторожно протирая и оборачивая мягкой салфеткой. Закатный луч внезапно пробился через окно и отразился в сферической поверхности одного из них, и почудилось, что шары по-прежнему хранят тайну и возможно чудо…

Мне очень важно все их сохранить. Несмотря ни на что. Хотя бы потому, что еще не всё сказано. И чудо возможно.

…Сны о детстве. Ожидание и оглушительное предчувствие счастья. Отчаяние от невозможности высказать застрявшее в горле слово. Дорога. Миры. Я — всегда в промежутке…

НОВОСТИ ЖЕНСКОГО РОДА

«Темная, вязкая жижа, серо-бурая, бесконечная… Вы думаете, это танки, снаряды, пушки? Нет, война — это прежде всего грязь в любую погоду, жижа, по которой шатаются коровы, собаки, очень много брошенных животных… И птицы улетают оттуда, я замечала, птиц нет совсем…»

Вика который раз слушала запись их первого разговора все эти месяцы, перед очередной встречей, знала ее уже наизусть, но как будто хотела уловить в срывающемся голосе что-то ускользнувшее прежде, пропущенное, не понятое до конца… Какое-то важное звено, мимолетное движение, которое раскроет неясное, исправит точность звука, отклонившегося от необходимой частоты… Камертон. Нужен камертон.

Обычно она довольно легко настраивалась на некий внутренний ритм собеседника, что происходило как бы само собой, хотя, конечно, этому предшествовала длительная подготовка: изучение биографии и прочих данных в интернете, собственная медитация. Но этого никто не знал, и в первые же минуты возникала интимная и доверительная атмосфера, которая и была основным залогом будущего успеха и преодоления тех проблем, которые требовали решения и с которыми человек не мог справиться сам. Именно то, зачем люди и приходят к коучу.

Но с Адой не получалось. Хотя, конечно, они не просто привыкли, но каким-то образом даже привязались друг к другу, этого не скрыть. Может быть, дело в том, что Ада часто переносила встречи — то болела, то уезжала в командировку и снова болела, то приходила не вовремя. Вика не терпела нарушения в расписании, зорко следила за регулярностью визитов, считая ее важнейшей составляющей

движения к поставленной цели, и не прощала неаккуратности, отказываясь даже от самых выгодных клиентов. Аде разрешалось то, что не было позволено никому. Опаздывать, отвлекаться на телефонные звонки, спать в глубоком кресле после сеанса, как случилось в один из первых вечеров. Тогда она впервые рассказала об отчиме, о том, как первый раз убежала из дома, как устроилась уборщицей в районную газету, чтобы научиться писать, и как на первый гонорар купила матери косметический набор…

Однажды, перед ранним рейсом в Архангельск, она ночевала в этом же кресле, Вика сама настояла — в съемную пополам с подружкой квартиру в Тмутаракань на ночь глядя ехать нет смысла, а тут рядом Киевский вокзал, экспресс примчит за полчаса прямо в аэропорт. Та заснула, как котенок, поджав ноги и втянув голову в плечи, прямо в джинсах и свитере. Вика накрыла ее, спящую, пледом, и сердце защемило от жалости к этой хрупкой во всех смыслах девчонке и от гнева на мерзавца-редактора, который снова отправляет ее в очередную дыру писать об очередных несчастьях, после чего та, скорее всего, снова заболеет ангиной, будет рассказывать о муках обездоленных и беззащитных и плакать, вытирая слезы кулаком, от бессилия им помочь… Была бы ее воля, Вика отдала бы такого редактора под суд.

Зазвонил телефон.

— Виктория Александровна, это Ада. Простите, не смогу сегодня к вам прийти, очень серьезная встреча, я давно старалась ее организовать. Новый материал. Я вам потом расскажу. Можно я вам завтра позвоню?

— Конечно, Ада. Только осторожно, договорились?

— Я вам обещаю! — звенел радостным ожиданием тоненький голос.

Вика выключила диктофон, положила на комод, где теснились фотографии родителей, ее портрет а-ля Матисс кисти однокурсника, подарок на двадцатилетие, вазы венецианского стекла, терракотовые и самшитовые фигурки богов, память о путешествиях, и старинный камер-

тон — дедушка настраивал с его помощью пианино. Инструмента давно нет, сын подарил невесткиной племяннице, но камертон сохранился как связующее звено эпох и поколений, как некий знак стабильности и приверженности неизменным основам бытия, не подвластным наносным веяниям, политическим ветрам и иным причудам.

Начав новую жизнь в маленькой, доставшейся от тетки, квартире, Вика особенно тщательно отнеслась к оформлению рабочего пространства, где клиенты должны были чувствовать себя спокойно и уверенно. Оказалось, не напрасно. Теткин ореховый комод, который не выбросили только по недоразумению, после реставрации и с разнофактурными предметами на его поверхности создавал необходимый эффект отвлечения и одновременно фиксации на незначительных, но напоминающих о гармонии пропорций деталях, что «при участии желтого света лампы исключительно благотворно воздействует на психику в состоянии тревоги или «выгорания» — так это потом объяснил знакомый психолог. Камертон в ряду этих деталей привлекал многих больше всего.

«Не смогла, ну что же. Значит, не судьба; значит — лучше встретиться завтра», — вслух сказала Вика. После переезда, особенно после перенесённого ковида, она стала нередко говорить вслух, как будто убеждая себя еще раз в правильности высказанной мысли. И пошла пить чай, который заварила для Ады.

Вика верила в судьбу. В то, что самые трудные ситуации подчас разрешаются самым неожиданным образом и потери оказываются не потерями вовсе, а восхождением на некий новый виток. Так было, когда она первый год не поступила в университет. Пошла курьером в типографию, где познакомилась с Гришей. Поступила всё равно на следующий год и скоро ушла в декрет. Диссертацию не защитила, почти закончив аспирантуру, зато сохранила семью, и они втроем с маленьким сыном уехали из «лихой» Москвы 90-х, где успехи убить Гришиного партнера по бизнесу и где за его сердце и растущую компанию по производст-

ву модного софта сражались две юные красавицы. Жили пять лет в Вене, где она успела познакомиться со многими серьезными людьми, это так пригодилось потом! Гриша всё же ушел, его бизнес буксовал, деньгами помогал нерегулярно, но Вика не пропала — друзья и европейские знакомые помогли устроиться в новый частный вуз, где она с головой ушла в работу, оказалась талантливым администратором и стратегом, довольно быстро доросла до проректора.

Замуж больше не вышла, хотя были претенденты и даже большая любовь, но сын-подросток четко дал понять, что такой вариант его не устраивает. Зато был внимательным и заботливым, старался радовать успехами в учебе, по стопам отца и при его неожиданной помощи открыл свое дело, вошел в сотню лучших молодых предпринимателей уже в 30… Кто знал, что его коллега, ставшая женой, подозрительно похожая лицом и повадкой на последнюю Гришину избранницу, всё перечеркнет и растопчет?..

Она знала: трудолюбие и упорство почти всегда ведут к успеху, именно они и есть условие того, что судьба тебя не оставит, подхватит невидимыми крыльями и вознесет на новые высоты. И когда неожиданно институт закрыли, что совпало с конфликтом с невесткой, и Вике пришлось переместиться в теткину «однушку», прежде сдаваемую, таким же чудесным образом появился бывший одноклассник, ныне директор крупной фирмы, и попросил поговорить с его заместительницей, дочкой учредителя, «просто, по-женски, как ты умеешь». Учредитель сам обратился за помощью — у дочери наметился невроз. Одноклассник подозревал, что к тому же она хочет его подсидеть.

Вика в тот момент была на мели, то есть совершенно без денег. Много лет жила широко, не научилась копить, а отложенные на кругосветное путешествие доллары стремительно растаяли за полгода. И перспективы приличной работы рассеялись как дым, а до пенсии оставалось еще довольно далеко, тем более учитывая реформу. Плюс оказалось, что за тот год, когда она фактически одна (про-

гульщица-молдаванка не в счет) возилась с внуком, пока сын с невесткой налаживали филиал в Харбине, у нее пошатнулось здоровье. Гипертония, грыжи в позвоночнике, киста в коленном суставе, так что по лестнице старалась подниматься очень осторожно и привыкла начинать утро с таблеток.

«Брось, ты справишься, — сказал одноклассник в ответ на ее почти рефлекторный отказ. — Я помню, как ты нас перед выпускным всех урезонила и помирила, да и опыт не пропьешь. Тут степень кандидата не нужна, главное — поговорить по-человечески. Очень тебя прошу».

Три дня Вика штудировала курсы по психотерапии в Сети, подняла старые университетские записи. Социальную психологию им читал модный в то время лектор, собиравший аншлаги в Политехническом на лекциях о любви и дружбе, ныне видный оппозиционный политик. Она улыбнулась, глядя на неровные строчки конспектов — тогда это казалось почти запретным знанием! Как изменилось всё за эти годы! Да и сама она изменилась. Даже Гриша. Видела его недавно на дне рождения сына, он, всегда такой подтянутый, обрюзг, даже новая жена как-то обабилась, хотя ей еще только сорок. А она сама? Она с удивлением рассматривала свое отражение в зеркале, как будто стараясь рассмотреть еще недавно цветущую и ухоженную женщину «без возраста».

Накануне встречи с бизнесвумен в неврозе Вика отложила все книги и неожиданно успокоилась. Заместительница одноклассника оказалась коренастой, с упрямым лбом и четкой морщинкой между бровями. Крашеные светлые волосы, модная стрижка. «Зачем она красится? — мелькнуло в первый момент. — Это ее простит, и черты кажутся грубее».

Она оказалась действительно упрямой и буквально зацикленной на работе — этакая реально опасная в любом коллективе перфекционистка; и не скрывала, что хочет возглавить компанию и войти в русский список «Форбс».

Невроз свой она также четко определила сама и с ходу: патологическая любовь к сыну, которая мешает в карьере. Мальчик родился слабеньким, находился под наблюдением врачей, по полгода проводил в санатории, куда его сопровождала одна из двух нянь, дома сказки на ночь мальчику читал муж, программист и, судя по всему, законченный и счастливый подкаблучник. Владелец фирмы, отставной полковник, вдовец, видел в единственной дочери продолжательницу семейного дела и всячески поддерживал ее амбиции. Отец был для дочери всегда образцом и примером — в противовес матери, «домашней курице», рано умершей от наследственной болезни. Видимо, она и передалась внуку.

Вся жизнь этой со всех сторон «упакованной» тридцатипятилетней женщины была продумана, организована и спланирована на годы вперед. Но не так давно начались депрессия, бессонница, мигрени, от которых не спасали лекарства.

Вика слушала собеседницу, разливала чай, переспрашивала, рассказывала о жизни в Австрии, о форумах деловых женщин, которые организовывала, будучи проректором, они обсуждали привычки водителей, моду и последние выставки современного искусства в России и Европе, короче, трепались два часа ни о чём. И договорились встретиться в то же время через неделю. На прощание клиентка первый раз улыбнулась.

Примерно через месяц Вика спросила, почему ей так необходимо стать директором фирмы. Та даже замерла на мгновенье. И выдохнула:

— Но я же должна побеждать! Я не имею права проигрывать! — и засверкала яростно глазами: — Я, кстати, еще в детстве обещала отцу, что всегда буду первой!

— И очень правильно, — отозвалась Вика. — Главное — понять, какая именно победа тебе важна. И она придет. Это называется правильно сформулированное намерение. Есть такая книга, правда, на немецком. Кстати, моя

знакомая при ее помощи наконец удачно вышла замуж. Но есть секрет: важно правильно сформулировать…

И начала рассказывать одну из своих любимых историй о том, как жизненное пространство трансформируется под влиянием энергии мысли и направленной интенции.

А на прощанье неожиданно для себя самой заметила: «Кстати, почему бы вам не вернуть своим волосам естественный каштановый цвет? Очень бы пошло…» Потом еще ругала себя за эту почти бестактность.

На следующей встрече вместо крашеной блондинки в дверях появилась очаровательная шатенка, даже складка между бровями расправилась. В руках — коробка с тортом.

— Сегодня день рождения мамы. Ее любимый, «Киевский». Она сама его делала, вообще, отлично готовила, а торты — ее коронный номер. Я их не ела, боялась потолстеть, в нее. И готовить ненавидела… Знаете, мне ее очень не хватает. И чувствую себя страшно виноватой…

— Ну, это у всех… Мне тоже кажется, что я к своей маме была несправедлива, так многого не сказала… Но можно сказать это сейчас.

— Правда?

— Конечно.

— Я сегодня с ней разговаривала, — призналась она. В первый раз. Ночью, когда работала в кабинете, как всегда. Не помню, как заснула. И голова с утра не болела.

Собственно, Вика ее ничему не учила никуда не направляла. Через некоторое время заметила какие-то неуловимые перемены в лице и фигуре, но ни о чём не спросила.

А вскоре потрясенный одноклассник позвонил и сказал, что заместительницу как подменили, она больше не мегера; к тому же неожиданно объявила, что уходит в декрет. «Представляешь? Она после первого ребенка через неделю была в офисе, а тут… Ты гений!»

Так Вика стала коучем.

К ней приходили бизнесмены и их родственники, дизайнеры и блогеры, исключительно по рекомендации и строго в назначенное время. За два с лишним года круг клиентов расширился, установилась очередность и запись на месяц вперед. Вика поставила на комод антикварную лампу, отгородила кровать в нише изящной японской ширмой ручной работы, купила дорогой чайный сервиз, ноутбук последней модели и домашнюю одежду престижного бренда. Респектабельно и стильно.

«Тебе бы еще одну комнату, для работы, — говорила старая подруга, забегавшая в гости в промежутке между «бабушкиной страдой» у трех внуков в разных концах города. — Вот тогда бы ты была просто королева! Вот бы кто тебе наследство оставил… А вдруг?» Подруга продолжала верить в чудо, стоически растила потомство дочери от трех мужей и подкидывала деньги четвертому, начинающему фотографу из глубинки. Верила и в идеальную любовь, которая настигнет когда-нибудь и ее, не может не настигнуть… Ей, только ей, Вика рассказывала о своей обиде не невестку, на сына, о той боли, которая не отпускала вот уже несколько лет… Подруга охала, плакала вместе с ней и убегала, крепко, как в юности, обняв напоследок.

Любила ли Вика свою новую работу? Она не знала, хотя нередко задавала себе этот вопрос. Подчас ловила себя на том, что ее захватывает чужая жизнь, ее хитросплетения, которые она медленно пыталась распутать вместе с клиентами, точнее, подталкивая их к тому, чтобы нащупали спасительную нить и сами выбирались из лабиринта собственных ошибок, чужих козней и взаимных обид. Самое главное было не только внимательно слушать, но и побудить найти слова, дать имя тому, что мучает, погонять его звучание по нёбу. Люди боялись слов, боялись даже про себя их произнести и на самом деле зачастую не хотели ничего менять и жили именно так, как им было удобно. Амбиции, нежелание понять очевидное, еще раз амбиции…

И неутоленная жажда выговориться. Она никогда не подозревала, работая много лет в институте, что людям, вне зависимости от круга и социальной значимости, практически не с кем поговорить.

Необязательно излить душу или поделиться сокровенным — просто быть выслушанным. Сколько раз видела, как после двух часов самого обычного трепа, без помощи даже нехитрых упражнений на расслабление или отстранение от травматического воспоминания, люди уходили просветлевшими, как будто стряхнув с плеч тяжкий груз.

Она научилась не осуждать, не настаивать, внутренне не приближаться слишком к собеседнику, сохраняя уважительную дистанцию, но в то же время — необходимую открытость и доверительность. В строго заданном, ею установленном формате. Иногда после сеанса она подолгу сидела, уставившись в одну точку, пытаясь понять, сколько еще она будет заниматься этим странным бизнесом, который, похоже, стал неотъемлемой частью существования современного человека. Догадываясь, что иногда подходит к какой-то зыбкой и опасной грани. Еще чуть-чуть — и она может подтолкнуть собеседника к принятию совершенно неожиданного решения, к формулировкам, которые ему чужды, пробудить какие-то спящие силы, и ей становилось не по себе.

Коуч — он кто? Гибрид исповедника, гейши и гипнотизера? Материализовавшийся продукт фантазии Мэри Шелли, современный Франкенштейн? Повелитель тайных сил души, отрыжка тремора перегруженной и травмированной ноосферы? Скромный индивидуальный предприниматель, который в силах зомбировать каждого второго, или добрый ангел, несущий спасение? «Коуч — двигатель прогресса», — написала она однажды на полях программки семинара по новым технологиям цветотерапии.

У нее сложилась репутация первоклассного специалиста, старые клиенты приводили новых, да и сами появлялись время от времени. Бывшую «мегеру с крашеными волосами» она пару раз видела в интернете — та открыла

фонд помощи детям с редкими заболеваниями. А потом получила от нее доставку с курьером — русский «Форбс» с ее портретом на обложке: она стала филантропом года, а фонд «Виктория» — лидером по привлечению государственных и частных средств в борьбе с детским диабетом.

Кажется, в тот день или на следующий к Вике и пришла впервые Ада: она сидела на стуле в кухне, поджав ноги, пила горячий чай, стремительно опустошала вазочку с печеньем и листала «Форбс». Вика догадалась сделать ей бутерброды и не начинала разговор, пока та не наестся. Нахохленный цыпленок с фиолетовым синяком на скуле. Накануне, на демонстрации в защиту мигрантов, на нее напали националисты. Она не помнила, кто позвонил и попросил принять эту девочку без очереди. Помнила промелькнувшую мысль: как вообще этот мокрый цыпленок может быть журналистом? И вторую мысль: это какая-то Неточка Незванова…

У Вики было прежде несколько клиентов-журналистов, известных и не очень. Их амбиции часто оказывались больше, чем у бизнесменов и их женщин, и больше было внутренней расхлябанности, помноженной на уверенность в собственной исключительности, у некоторых — проблемы с алкоголем, и абсолютная беспомощность в практических делах.

Ада была совершенно иная.

Она работала в сетевом издании, о котором Вика раньше никогда не слышала. Социальная проблематика, неустроенность и бесприютность. Тяжелое чтение в целом, но иногда попадались вполне оптимистические репортажи, интересные сюжеты о благотворителях, спасателях, настоящих подвижниках: педагогах, волонтерах, даже полицейских. Ада работала вне штата, ей постоянно напоминали, что не имеет высшего образования, но довольно часто отправляли в командировки. В первый вечер она рассказала Вике о войне в Карабахе, куда поехала даже без задания от редакции: там оказалась в гостях у сестры подруга, замужем за армянином, которую с трудом

удалось общими усилиями вывезти в Подмосковье. Большинство ее публикаций были о бездомных, стариках, мигрантах, обиженных женщинах, украденных мусульманскими отцами детях, убийствах чести и бесправии.

Тексты Ады не походили на привычные репортажи из горячих точек или форпостов социальной защиты. Часто без строгой композиции, четкого вывода. Сюжет развивался причудливо, как будто следуя за героями или автором в трудном пути, исход которого неясен. Жанровые приметы также угадывались с трудом: не то очерк, не то репортаж, в котором половина — даже не интервью, а монолог какого-то старика или женщины. И невероятные детали, которые невозможно забыть. Как те же улетевшие от войны птицы или брошенные коровы. Как письмо, которое мальчик из лепрозория пишет девочке — соседке из своего бывшего двора. Как частушка, которую поет в интернате для психоневрологических больных, забытых родными, старуха-ветеранка. Читателя как будто выбрасывали из люка самолета без парашюта в чрево тайги, и он должен был сам, раздирая в кровь кулаки и колени, продираться сквозь чащу, впитывая все звуки и запахи непривычного, страшного, почти теряя надежду выбраться на свет.

— Зачем вам все это? — в первый вечер спросила Вика. — Есть другие темы в конце концов…

Ада тихо сидела в кресле, завернувшись в плед. Шмыгнула носом, подняла огромные прозрачные глаза, ответила не сразу.

— Тут уютно, тепло. И вот эти женщины в журнале, красивые и правильные. И они, и вы просто не представляете, как живут люди. Сейчас, сегодня.

— Вы уверены, что у вас хватит сил всем им помочь? Может быть, есть другие варианты? Вам же больно самой…

Ада замотала головой.

— Нет. Но, по крайней мере, о них кто-то узнает.

— Но сколько людей? И что они смогут сделать? Это надо иначе, наверное, решать…

— Вот вы узнали. И кто-то еще. И еще.

Недели три Вика пыталась уговорить Аду сменить тему.

Потом Ада попросила вместе посмотреть в интернете трансляцию вечера в Доме музыки. На экране появился Владимир Спиваков и известный журналист. Оказалось, вечер посвящен Политковской и премии ее имени. Из-за карантина в зале сидели с соблюдениям дистанции, и на пустых стульях стояли портреты погибших журналистов, много — какие-то лица Вике были хорошо знакомы, какие-то нет. Как и лица присутствующих. Тут были и актеры, и музыканты, и журналисты, и политики — Вика узнала пару своих клиентов и улыбнулась. Премия называлась «Камертон» — настоящий серебряный камертон вручили журналистам газеты и их героям за репортаж из «красной зоны» в ковидной больнице и за расследование экологической катастрофы на Таймыре. Вика читала, оказывается, обе публикации.

«Елена Костюченко — самая лучшая журналистка в мире, — возбужденно говорила Ада. — Иногда мне кажется, я на нее похожа. Хотела бы походить. Она тоже из глубинки, тоже из бедных. Я читала интервью. Ей повезло, она в школе прочитала Политковскую и решила стать, как она. А потом они вместе работали. А я прочитала «Голоса Беслана» Костюченко. Я на почте работала тогда, там интернет, и читала газеты, за которыми к нам приходили, и потом искала авторов, которые понравились. Когда-нибудь я хочу прийти в газету, если напишу что-то важное…

Ада снимала вместе с землячкой комнату в Балашихе, обе не поступили в университет. Землячка работала продавцом в зоомагазине, вместе с ними жили две кошки, спасенные во время отлова бездомных (Вика не думала, что такая практика еще есть). Вместе кормили бродячих котов и собак во дворе, на что уходила значительная часть заработка. Гонораров Ады едва хватало, чтобы оплатить свою часть квартиры и купить еды. Шансов поступить на бюджетное отделение университета у нее практически не

было — плохой ЕГЭ. Ей и правда не хватало образования, она не читала многих книг, даже из школьной программы. Вика всегда давала в дорогу почитать что-то из классики или современных авторов, купила специально для нее Василенко, Яхину, Пелевина и «Вечную мерзлоту» Ремизова. Пелевин Аде не понравился, а женщин она попросила подержать у себя подольше, чтобы подруга прочитала.

Редактор, которого Вика ненавидела с каждой встречей всё отчетливее, отправлял Аду на рискованные задания, зная, что она непременно найдет какой-то эксклюзив, открытую рану, и напишет так, как будто это ее поранили. Прекрасно понимал, что девчонка будет сходить с ума и мучиться после каждого такого репортажа. С другой стороны, это как раз его приятель позвонил Вике и попросил срочно помочь. Вика нашла тренинги по преодолению травмы и по безопасности, даже пыталась проработать с Адой, но казалось, та сама не хочет отгородиться от боли, как будто ее задача и есть — не описать, а испытать эту боль.

«Разве это журналистика? — думала Вика. — Это самоуничтожение, самосожжение, а не передача информации. Но зачем?!» И снова прокручивала их диалоги, которые запомнила дословно, до каждого вздоха, каждой паузы…

«Ты, мне кажется, удочерила эту Аду, — заметила подруга, заскочившая, как обычно, впопыхах. — Вот не было у тебя дочки, так появилась — теперь ты меня лучше поймешь, почему так ношусь со своей».

Как в самое сердце попала.

У нее могла бы быть дочка, такая же, как Ада. Много лет не думала об этом, забыла. Самый тяжелый, последний их год с Гришей. Он почти не ночует дома, практически открыто живет с помощницей, вместе с ней ездит на деловые встречи в Европу. Вика гордо молчит, не провоцирует скандал, хотя конец уже неизбежен. Не отказывает во взаимности, когда Гриша изредка остается в их постели, и даже верит наутро, что всё обойдется. Не обошлось. И

когда он сказал, что поедет снова в Вену, на год без нее, спокойно предложила разойтись. Еще удивилась, дура, что сразу согласился. Про беременность и аборт ему не сказала. И ни разу не пожалела. Еще до этого как-то спросила у сына, первоклассника, хочет ли он сестричку. Нежный мальчик, такой ласковый, спокойный, вдруг задрожал, зарыдал в голос, убежал, плакал весь вечер. И потом долго прижимался к ее животу, щупал подозрительно. Нет, у нее не могло быть других детей, только он, самый любимый, единственный. Которому она больше не нужна…

Только тетка, старая каэспэшница, геолог, потерявшая здоровье и мужа в экспедиции, поддержала в те дни (родители были категорически против): «Виктория, ты права. Помни, что означает твое имя. Победа. Ты будешь победительницей всегда». И тогда же — неожиданно для всех — подарила ей однокомнатную квартиру на Большой Дорогомиловской. Выручала потом эта квартира, кормилица… И теперь выручает.

Ада позвонила на следующий день и опять извинилась: срочно писала текст для большой газеты — так она сказала — и обещала обо всем подробно отчитаться завтра.

Вика снова села пить заготовленный для Ады травяной чай. И тут зазвонил стационарный телефон. Она вздрогнула — отвыкла от этого звонка; кажется, с того момента, как сюда переехала, телефон никогда не звонил. Даже думала отключить его, чтобы не переплачивать за ненужную опцию, но почему-то не отключила.

«Это Герда, — услышала в трубке низкий знакомый голос. — Я к тебе зайду?»

Герда, старая теткина подруга, с которой они вместе строили город Мирный, спали в палатках. Рассказывали: если головой к печке, голову обжигает, а ноги мерзнут, и наоборот… Тетка отморозила себе всё, а Герда родила сына, подруги воспитывали его вдвоем — отец ребёнка не участвовал, а тетка говорила, что ему родители, блокадники, не позволили жениться на этнической немке…

Герда всегда сваливалась, как снег на голову, Викины родители еще удивлялись: как так можно? Не в тундре ведь живем, телефоны у всех есть… Сколько лет они не виделись? Двадцать пять? Вскоре после развала Союза Герда вышла замуж в Мюнхен за экологического активиста и уехала вместе с сыном на ПМЖ. На похороны тетки прислала огромный букет цветов, зимой, все тогда удивлялись… И сколько ей сейчас? Восемьдесят? Восемьдесят три?

Герда пришла через полчаса, быстрая, как всегда, помолодому расшнуровала кроссовки, не присаживаясь на табурет, сняла маску, санитайзером из кармана побрызгала на руки и на рюкзачок. Потянула носом: о, алтайский, с саган-дайлей… А ты молодец! И пошла на запах, на кухню.

Вика разлила чай. «Герхард умер полгода назад, — сказала Герда и выложила из рюкзачка пухлый конверт, перетянутый резинкой. — Боролся до конца, настоящий мужик. Мы хорошо с ним пожили. Это от него. Сто пятьдесят тысяч евро. Я не стала с банками связываться, окешила дорожные чеки. Пусть проценты, зато тебя никто не назовет иноагентом, у вас теперь это строго, сама знаешь».

Вика начала было протестовать.

«Нет, это его воля. Он сказал, чтобы я часть денег отдала друзьям, которые мне помогали в России. Веры больше нет, она была мне самым близким человеком, Алика растили вместе. Мне Герхард достаточно оставил, и Алик зарабатывает хорошо. А тебя Вера очень любила, как дочку. Пусть будет о ней память. И обо мне».

Герда посидела часа полтора, рассказывала о внуках, о работе в благотворительном фонде, о месяцах ковида в Мюнхене, о новых земельных порядках, о соседях и ушла так же неожиданно, как появилась. Встала, тряхнула седой челкой: «Пора».

Вика раскрыла пакет, пересчитала купюры. Ровно сто пятьдесят тысяч евро. Почти полтора миллиона. Пожала плечами. Сунула в ящик стола. Из ящика выпал листочек с телефоном риэлтора — видимо, забыла выбросить. Ког-

да-то, только переехав сюда, она искала в районе двухкомнатную квартиру, сразу обнаружились два варианта, недоставало как раз полтора миллиона…

Позвонила подруга: «Что у тебя такой странный голос? Неужто наследство получила?» Вика рассказала про Герду. Говорили до полуночи, подруга вызвалась приехать назавтра, отложив дела, и всё обсудить.

Ночью Вика видела странные сны. Тетка сидела на диване и рассказывала о своем детстве, о том, как забирали родителей (Вика забыла напрочь об этом эпизоде) и как они с Викиным отцом вдвоем отправились в деревню к дальним родственникам, чтобы их не отдали в детский дом… Герду провожали в Германию, пили разбавленный спирт «Роял»… Они с Гришей ехали в ЗАГС, Вика нечаянно зацепила каблуком платье и его склеивали пластырем… Концерт под открытым небом в Вене, кружевное барокко и синее небо, нереальное, как весь этот город… Маленький сын вскочил и пытается дирижировать… Невестка вызвала слесарей менять замок в родительской квартире. Дедушка проверяет точность звука, камертон в руках…

Утром она встала рано, положила в сумку пакет и отправилась в банк. Копия паспорта Ады нашлась среди бумаг, сохранилась, когда ей заказывали билет в Архангельск. В банке она оказалась первой клиенткой и быстро открыла счет до востребования на имя Ады Владимировны Куценко.

На город обрушился ливень. Вика поняла, что забыла зонт. И вспомнила вдруг, как они с подругой после экзамена бежали по дождю этими же улицами к тетке, перепрыгивая через лужи; вспомнила и то давнее чувство легкости и радости. И улыбнулась, как будто вернулась в прежнее время.

Она шла по новенькой плитке, не замечая, что промокли туфли, размазалась тушь, что мокрые струйки затекают за воротник, не слыша звонящего телефона, и продолжала улыбаться, сама не зная чему…

ПИНА-МАРИНА

Самолёт был не просто полон, а, что называется, забит под завязку. Многие пассажиры держали на коленях детей, вещи падали с переполненных верхних полок, стюардессы упихивали их, уносили не поместившееся в багажный отсек. Марина с трудом протиснулась на своё место между грузной женщиной с одышкой и суматошной мамашей годовалого малыша. Спинка кресла не откидывалась. Марина впервые порадовалась тому, что у неё короткие ноги, застегнула привязной ремень и достала заготовленный ещё с вечера бутерброд.

— Можно воды? — спросила проходящую мимо проводницу. В аэропорту бутылочку за полтораста рублей она решила не покупать.

— Взлетим, тогда будем разносить.

Марина спрятала бутерброд в сумку.

Неужели она действительно летит в Италию? До последней минуты так и не могла в это поверить. Даже когда уже сняла с карточки отложенные на импланты деньги, обменяла на евро, когда купила самый дешёвый билет и тщательно упаковала походный рюкзачок, чтобы уложиться в бесплатные пять килограммов: юбка, блузка на выход, шорты, две майки, купальник, смена белья, туалетные принадлежности, минимум косметики… Марина всегда боялась безрассудных решений, спонтанных, не обдуманных тщательно. Это, конечно, было безрассудным. Она сама не понимала, как так получилось.

Малыш рядом задремал, мать вытащила планшет и стала читать текст. Марина боковым зрением увидела — стихи без рифмы. Подпись — Вера Полозкова — ей ничего не говорила. Первые же строчки не понравились: непонятные, возбуждающие смутную тревогу, то самое чувст-

во, которое Марина столько дней и ночей старалась изгнать из сознания, задвинуть, как самый нижний ящик в комоде.

К стихам она вообще относилась настороженно. Ещё в институте, когда все девчонки разделились на тех, кто любит Ахматову, и тех, кто предпочитает Цветаеву, она безоговорочно присоединилась к «ахматовкам». Не столько потому что строгий и холодный ритм Анны Андреевны был ей ближе — скорее, пугала цветаевская откровенность, чувственность, чрезмерность, манящая и увлекающая в опасный водоворот. Позднее любила Веронику Тушнову; Ахмадуллину — никогда. Больше читала романы: в юности увлекалась «Консуэло» Жорж Санд, потом перечитывала по нескольку раз «Анжелику» Анны и Сержа Голон, Мориса Дрюона… Впоследствии появились другие романы, много, и фильмы, в которых красивые люди красиво страдали и плакали, а потом находили счастье. Было и кино, где удача и счастье улыбались не самым красивым — такое Марине нравилось больше.

В школе, где она проработала тридцать пять лет, придя сразу после института, все женщины не только обсуждали фильмы и сериалы, но и обменивались книгами, в том числе новинками. Но Марина уже давно не читала ни Пелевина, ни Улицкую — ей ближе были истории поиска женского счастья со счастливым концом. Когда жизнь вновь повернулась к ней чёрной стороной и в одночасье рухнуло всё, что казалось надёжным и непреходящим, именно эти книги и фильмы спасали…

Беда никогда не приходит одна — Марина это давно поняла. Почти сразу после смерти мамы ушёл Владик. Оставил их с Таней совсем беспомощными. Оказалось, у него уже давно роман с секретаршей директора, но, видимо, пока мама болела, не решался её огорчать. Ждал.

Страшно вспомнить, как они выживали тогда. Спасибо Варваре: она как раз стала завучем, подкидывала подработку, хоть в столовой, хоть техничкой, потом даже время от времени репетиторством по русскому и литературе,

хотя Марина числилась простым библиотекарем… Варвара же подсказала подать на алименты, хотя Владик приходил, просил не подавать, обещал помогать, когда наладит свой бизнес.

Подала всё же и получала регулярно, но неровно. Потом несколько месяцев ничего не приходило, Владик исчез. Даже Таню с днём рождения два года не поздравлял. Позже узнала, что он уехал на Дальний Восток, потом в Корею… Давно это было, и обида затянулась, но горечь от потраченной на мытьё лестниц и туалетов молодости осталась. И чувство острой несправедливости. Почему всё это с ней случилось?

Вот и теперь, перед самыми каникулами, когда Варвара вызвала её и сказала, буднично так, что три школы сливают в один образовательный комплекс и из трёх библиотекарей оставят одну, кандидата наук и родственницу работника мэрии, у Марины знакомо засосало под ложечкой. Конечно, Варвара могла её оставить, найти какую-нибудь ставку. Но не стала. Сама, видимо, с боем осталась руководителем корпуса, потеснив директора. Зла на неё не было. Подумала: «Такая жизнь». И права оказалась…

Через неделю Таня привела нового кандидата в мужья, иногороднего. Как только он сел в кухне на Маринино место у окна, она поняла: пришла беда. Начал без лишних слов: «Мы ваши вещи перевезём в мою комнату, двадцать метров, электричка рядом. Можно до метро на автобусе. Сосед практически не бывает, так что будете хозяйничать одна». Таня согласно кивала, рассказывала, кто из новой родни приедет на свадьбу. Неприятно кольнуло, что деньги на свадьбу, три тысячи долларов, дал Владик.

Новое жилище Марину ужаснуло. Под окнами серой пятиэтажки грохотали электрички, сигналили товарняки, вокруг дома с утра до вечера ошивались какие-то непонятные люди без возраста, с серыми лицами. В подъезде — застарелый запах мочи и нечистот, у лифта она за-

метила использованный шприц. Комната соседа закрыта на амбарный замок, унитаз течёт, в кухне запах тлена. Марина села на табуретку и заплакала. Она так и не заснула в первую ночь, пыталась смотреть фильмы, потом залезла в «Фейсбук», читала посты знакомых и незнакомых, особенно об отдыхе, о семейных праздниках, с картинками. Вдруг отчаянно захотелось в отпуск, на море, в красоту... Она представляла себя на пляже, среди пальм, или под прохладной тенью итальянских сосен, как на картинах из Третьяковской галереи... Уже под утро хотела было выйти из сети, как вдруг заметила знакомое имя, а под ним — фотографии семейного праздника под великолепными пиниями. Донателла! Подруга по переписке школьного клуба интернациональной дружбы, КИДа: их школа переписывалась с детьми итальянских коммунистов, некоторые даже поехали на совместную смену в «Артек», но Марина неудачно заболела корью, и вместо неё отправили другую девочку. Донателла переживала, что они с Мариной не встретились...

Итальянская подруга почти не изменилась — тот же острый нос, те же жгучие чёрные глаза, только кудряшки теперь не смоляные, как сорок лет назад, а припорошенные сединой. Почему, интересно, она не красит волосы? Марина написала в личку и немедленно получила восторженный ответ, и не просто ответ — Донателла приглашала на неделю в гости, в родительский дом на море. Марина, сама себе удивляясь, согласилась мгновенно.

Всё сложилось удачней некуда. Шенгенская виза, которую Варвара организовала участникам поездки школьного актива по местам боевой славы в Калининград с заездом в Вильнюс, действовала ещё полгода. (В Вильнюсе у Варвары оказался старинный бойфренд, и после очередного развода она решила восстановить отношения, а Марину взяла для прикрытия, и та три дня вылавливала детей по барам и клубам для взрослых — слава богу, всё обошлось...) И билет до Пизы успела ухватить послед-

ний, экономкласса, «Победой» — в Сочи слетать вышло бы дороже…

Перед поездкой Марина неожиданно для себя впервые за долгие месяцы пошла в парикмахерскую, постриглась и даже слегка изменила цвет — со светло-каштанового на русый.

В Пизе всё оказалось значительно проще, чем она ожидала. Мамаша с ребёнком направлялась в ту же сторону, помогла купить в автомате билет на электричку и доехала с ней вместе почти до самого пункта назначения. Марина смотрела в окно, за которым проплывали жёлтые и терракотовые домики, пышные сады и верхушки невероятных сосен на фоне неправдоподобно синего неба, и улыбалась.

Донателла ждала её на крохотной станционной площади: маленькая, в красной юбке и зелёном жакетике, усадила в машину. Русский она порядком подзабыла, разговаривали на смеси русского и английского. Донателла порой вставляла итальянские слова, хлопала себя по лбу: «Не помню, как сказать», — и громко смеялась. Немедленно рассказала всё о себе: развелась пять лет назад, дети-погодки занимаются спортом; старший сын — футболом, он в юниорской сборной региона; младший — теннисист. Работает она в рекламном агентстве в Пизе, а здесь, в Марина ди Каррара, остался родительский дом, тут выросла, ходила в школу и вышла замуж.

— У мужа другая семья? — спросила Марина

— Нет.

— А что ж тогда развелись? — удивилась она.

— Не могли больше жить вместе. У нас хорошие отношения, дети по выходным остаются у него, если не на соревнованиях и сборах. В прошлом году ездили в отпуск вместе.

Марина продолжала удивляться. Кратко рассказала о себе, ничего не утаивая, наверное, впервые за много лет.

За пятнадцать минут они успели поделиться друг с другом самым важным, вспомнить далёкое детство, посмеяться и погрустить.

— Странно, что мы видимся первый раз в жизни, — сказала Донателла. — Как будто все эти годы были рядом.

Марина согласилась.

Дом родителей Донателлы, умерших один за другим в прошлом году, располагался на тихой узенькой улице. У выезда на большую дорогу Марина заметила три контейнера для мусора и стойку с почтовыми ящиками. Вообще-то, это был не дом, а только половина, вторая — принадлежала соседям. Но и полдома производили впечатление: высокие потолки, просторная кухня, больше, чем Маринина двухкомнатная квартира, два этажа, подвал, лестницы и ванная отделаны белым мрамором…

— Ты говорила, твой отец — простой рабочий, а тут такой дворец…

— Так и есть. В 1960-х экономика была на подъёме, рабочие получали хорошо и могли купить жилье. Я бы сейчас не смогла, да и никто не может. Отец работал один, мама очень экономно вела хозяйство, они дом строили всю жизнь, хотели, чтобы внуки тут были… Теперь мы с сёстрами, наверное, его продадим.

— А мрамор?!

— Это же Марина ди Каррара! Наша часть — Марина, а по другую сторону от железной дороги — Каррара, мраморные каменоломни. Мрамор тут самый ходовой материал, особенно низкого качества, — увидишь! И в Каррару съездим — посмотришь, как ужасно добывали камень для скульптур и палаццо. Тут не случайно возник один из первых профсоюзов…

Надо же, она почти в самой Карраре! Где Микеланджело выбирал материал для Пьеты и Давида! Вспомнила из студенческой поры: «После мраморов Каррары — как живётся вам с трухой гипсовой?» Просто не верится…

В первый же вечер позвонила Варвара:

— Ты что на почту не отвечаешь? И на ватсап.

— Я в Италии, — выпалила Марина, наполняясь незнакомым чувством превосходства, — в Карраре, гостях у подруги.

— Ну ты даёшь! — по голосу было ясно, что Варвара потрясена. — Как там итальянцы? Присмотри кого-нибудь посимпатичнее. Может, и мне заодно, — и хохотнула.

Варвара пребывала в длительном поиске партнёра, бойфренд-литовец испарился, новые не задерживались…

— Я тебе писала, есть вакансия в кафетерии. Ну, в другом корпусе, там не столовая, а кафетерий, с эспрессо-машиной, настоящий. Буфетчица уволилась неожиданно. Так я тебя запишу?

Марина согласилась не раздумывая. Буфетчица так буфетчица, это всё так далеко…

Донателла показывала Марине родные места, школу, где училась, муниципалитет, где регистрировала брак, церковь, у которой по дороге в каменоломни остановился Микеланджело, показала Дом профсоюзов, построенный в послевоенные годы, рассказала о линии Готик, которая полтора года разделяла городок на две части во время Второй мировой войны, — некая нейтральная территория между немецкими оккупационными войсками и позициями союзников, стреляли с обеих сторон… Марина удивлялась, как близко к сердцу Донателла и, судя по всему, многие итальянцы воспринимают те давние события — будто это происходило вчера и реально имеет отношение к сегодняшней повседневной жизни.

— Наша страна возродилась после фашизма, это помнит каждый итальянец, — серьёзно сказала Донателла. — Мы преодолели фашизм, и важно не допустить, чтобы он повторился.

Донателла была профсоюзной активисткой, рассказывала, как работники отстаивают свои зарплаты, переработки, пенсии, выходят на забастовки. «Как странно, — думала Марина, — говорить о забастовках среди такой красоты, среди теней великих…» Было жарко. На набережной они присели на скамейку под раскидистыми со-

снами, и Марина спросила, как они называются на итальянском.

— Пини мариттими. Приморские сосны. А у вас не такие?

— У нас есть кедры в Сибири, но они не так выглядят, и в средней полосе сосны другие. Попроще, что ли… А тут — просто рай! Парадизо, так?

— Парадизо — это наш пляж, мы туда пойдём завтра утром.

Но пошли только днём. Утром отрубился интернет, Донателла громко и эмоционально с кем-то разговаривала, Марина уловила слово «Квазимодо», которое часто повторялось. Оказалось, так называется портативный адаптер — его должен привезти знакомый.

— Почему Квазимодо? В честь «Собора Парижской богоматери»?

— Сальваторе Квази́модо — итальянский поэт. Один из лучших.

«Квазимодо» принес Фабио, знакомый Донателлы, которая успела рассказать, что после её развода у них с Фабио был короткий роман, но расстались, потому что он любил разных женщин одновременно. Теперь дружат.

Он пришёл, когда подруги вернулись с моря. «Точно похож на Квазимодо», — подумала Марина. Невысокий, кряжистый, с перебитым носом и короткими пальцами на волосатых руках. Расцеловался с Донателлой, поздоровался за руку с Мариной, внимательно посмотрел в глаза. Установил адаптер и немедленно отправился на кухню готовить пасту. Марина уже поняла, что паста — не просто главная еда итальянцев, но часть образа жизни и мировосприятия. Что готовят её каждый раз заново, ничего не оставляют на потом, что в регионах виды пасты разнятся и каждый соответствует характеру жителей. И ещё пасты десятки, если не сотни, видов: маленькая и большая, как блин, длинная и короткая, гладкая и перекрученная. Фарфалле, ньокки, фетучини, пенне… Донателла, священнодействуя на кухне, не торопясь рассказы-

вала об их отличиях и сыпала названиями — Марина силилась запомнить всё, но не могла.

Фабио приготовил спагетти с вонголе, ракушками, которых Марина никогда не видела. Они что-то живо обсуждали с Донателлой, а Марина в полудрёме слушала их непонятный разговор, вспоминая насыщенный день, и особенно — сквер на набережной под величавыми гармоничными пиниями… Пине марине?

Фабио наконец откланялся. Донателла сказала, что утром ей придётся на пару дней поехать по делам в Пизу, а он повозит Марину на машине по окрестностям и будет кормить итальянской едой.

Фабио приехал к обеду, Марина как раз проголодалась. Быстро приготовил пенне с баклажанами и предложил поехать в Виареджио. Его английский Марина понимала с трудом — судя по всему, он не учил этот язык в школе; на всякий случай взяла с собой карту.

Они покатили по шоссе, проложенному поверх старинной римской дороги, Фабио напевал, а Марина представляла, как по тосканским долинам легионеры в военном облачении.

— Форте дей Марми, — показал Фабио на высящиеся над сплошным забором крыши, — Флавио Бриаторе, Джованни Аньелли, Сильвио Берлускони.

Марина вспомнила, как Донателла рассказывала об этом фешенебельном курорте, где в последние годы покупали дома новые русские.

Виареджио походил на города из старых итальянских фильмов, со старомодным шиком и сохранившимися с давних времён вывесками. Казалось, пройди пару шагов — и навстречу выйдет живая Джина Лоллобриджида или Марчелло Мастроянни. Марина вдруг почувствовала себя героиней фильма, в который попала по случайности, а то и по ошибке.

Фабио заметил её волнение:

— Вилла Пуччини, Торре Матильда, Полина Бонапарте…

Они пошли по набережной мимо роскошных вилл, старого кинотеатра, магазинов и кафе, навстречу шли улыбающиеся люди, и роскошные сосны отбрасывали тень.

Фабио пригласил зайти в небольшое кафе, заказал диковинные фаршированные мидии, пармскую ветчину, мороженое. Официант, узнав, что дама из России, стал задавать вопросы: сколько стоит снять квартиру, трудно ли открыть свой бизнес, какие налоги?

— Вы думаете открыть кафе в России? — изумилась Марина.

— Почему нет? У меня знакомый открыл пиццерию в Твери, правда, у него подруга русская, она помогает.

Когда принесли чек, Фабио замялся, стал что-то искать по карманам, но Марина с радостью расплатилась сама.

В дом Донателлы они вернулись, когда уже смеркалось. Фабио быстро приготовил пасту с тыквой, достал из подвала бутылку красного вина. Марина благодарила за поездку, рассказывала о Москве, о соснах в Третьяковской галерее… Он смеялся: «Пина-Марина! Вива Марина!»

Когда убрали со стола и вместе загружали посудомоечную машину, вдруг повернулся и крепко прижал её к себе.

Три следующих дня Марина была счастлива. Она никогда не думала, что с мужчиной может быть так спокойно и хорошо. Перестала стесняться коротких ног, складок на животе, второго подбородка. Не волновалась о том, что сказала и что он о ней подумает…

Владик был всегда ею недоволен, даже когда виду не подавал, а она больше всего боялась не соответствовать его ожиданиям — на кухне, с родственниками, в постели… Может быть, это его покойная мать так поставила: мол, замухрышка без роду без племени вышла замуж за перспективного красавца, мог бы и получше найти…

После Владика у неё было два романа. Один — короткий, оставивший ощущение какой-то неловкости — с от-

цом двоечника, который приходил посидеть в библиотеку, пока сын занимался дополнительно после уроков. Второй — длинный, затянувшийся на пять лет, мучительный — с немолодым и тоже женатым учителем химии: он одновременно стремился к тайным встречам и стыдился их, что укрепило Марину в ощущении собственной никчёмности, вторичности. Когда химик перешёл в другую школу, она вздохнула с облегчением.

С Фабио всё было совершенно иначе: он с какой-то почти детской радостью целовал её тело, любил с юношеским пылом, восхищался её грудью, волосами, смеялся, угадывал каждое её желание и стремился ему навстречу.

— Пина-Марина!

Они ходили в «Парадиз», Марина покупала коктейли, потом Фабио готовил обед, к вечеру ездили на машине по соседним городкам и возвращались домой. Марина не предполагала, что можно жить вот так, не задумываясь ни о чём, просто радуясь сегодняшнему дню. Донателла задерживалась: позвонила, сказала, что вернётся только к субботе, спросила, как Фабио заботится о Марине. Ответила, что отлично. Что же она скажет Донателле?!

О себе Фабио рассказывал мало. Родители умерли недавно, братья работали в порту. Он сам, в отличие от братьев, любил свободу и менял работу — водителем, крановщиком, барменом, оператором разгрузки, уезжал в другой город, но возвращался — здесь всё ближе и роднее. Женат не был ни разу, детей тоже нет. Пятеро племянников. Учился с младшей сестрой Донателлы в школе…

Значит, он лет на десять моложе Марины. Хотя по виду трудно сказать. Фабио — это от Феба, Аполлона. Бог радости, между прочим! Она попыталась это объяснить, но он, кажется, не очень понял. Феб в оболочке Квазимодо? Он больше не казался Марине таким уж непривлекательным — ей было по-своему близко то, что под этой некрасивой внешней оболочкой жили такие нежность и красота, и щедрая радость. И впервые не было нужно произ-

носить много слов, объяснять — говорили на языке прикосновений, жестов, взглядов…

К приезду Донателлы Фабио приготовил настоящий пир: томленную в вине курицу, пиццу с артишоками, минестроне. Они вдвоем накрывали на стол. Завтра воскресенье, завтра утром она поедет на электричке в аэропорт — это будущее казалось Марине нереальным.

— Завтра — «Аэрофлот», Москва? — Фабио часто опускал английские глаголы.

— «Победа». «Виктория» по-итальянски. Лоукостер.

— Москва — большой город. Никогда не был.

Марина замешкалась на секунду: — Приезжай.

— Ты очень хорошая женщина. Может быть, у тебя есть в Москве подруга с деньгами? Которая грустит одна. Я бы начал бизнес, пицца или эспрессо. С тобой я тоже буду встречаться, — он широко улыбнулся и подмигнул.

У Марины подкосились ноги. Она плохо помнила, как приехала Донателла, как ужинали, как Фабио поцеловал её на прощанье в щёку и сунул в карман записку, как она собирала рюкзачок, как села в электричку. И только там заплакала.

Пожилая женщина напротив тронула за руку, стала что-то говорить по-итальянски, кивала головой на окно, протянула салфетку. Марина вытерла слёзы, запихнула салфетку в карман, и оттуда выпала записка — телефон Фабио. Хотела было разорвать, но передумала.

За окном вагона проплывали величавые пинии. Марина улыбнулась сквозь слёзы. «Жизнь продолжается», — ответила она участливой попутчице. Та улыбнулась в ответ.

Что ж, что ж, такая жизнь…

Пожалуй, надо будет по возвращении сразу позвонить Варваре, — подумала Марина. И аккуратно переложила записку с телефоном в сумку.

«РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ»

«Мне Марьяна написала на днях, думала, уже не напишет никогда, не простит. За то, что я Эльку в психушку сдала. Они с Маликом теперь в Маниле, реабилитируют женщин после секс-торговли. Малик — менеджером. Удочерили двух девочек, Марию и Изабеллу. Филиппинки, на английском не говорят. Их родной дядя продал в бордель на Макао. Почти как Никитич Марьяну. Теперь у них пятеро, старший, Патрик из Конго, скоро школу закончит, хочет быть доктором. Витька прав был, он мне всё время говорил: жди, она простит. Я его вообще мало уважала, не ценила, Витьку-то. Так и жизнь почти прошла…»

— Как она с мусульманином живет, не понимаю.

— Витька ко мне и вернулся, когда я Марьяну удочерила. Сказал, у девчонки должен быть отец. И свою мелкую стал приводить, они даже подружились, та, кстати, тоже в медицинский пошла потом. В новом роддоме работает, в Саввино у нас, анестезиолог уже. Хорошо, что наш Пуфик, ну, так нашего мэра за глаза зовут, наконец роддом построил, а то пятнадцать лет мыкались… Скажи, ты меня тоже осуждаешь? А что мне оставалось делать с Марьянкой? В детдом ее отправлять? Элька бы и без психушки с бодуна на себя руки наложила. Конченая была уже, иначе не допустила бы, чтобы ее родственник девчонкой попользовался, а потом за полкило дури продал. Не было у меня выбора!

— Всё же, мусульманин. Отца духи убили, а она с мусульманином, да еще с чеченцем. Тьфу!

— А Элька на простыне повесилась, как ломка началась. Марьяна с Маликом уже в Индии были. Они не мусульмане, бахаисты. Новая религия. И оттуда идут по всему миру. Марьяна мне три года не писала, как узнала про

Эльку, я от маликовой тетки (она у нас на рынке ларек держит) узнавала, как они и что, и что стали детей брать. В Кении — первую девочку, ей насильно обрезание сделали; потом Патрика…

— Негры лучше, чем мусульмане; у моего буржуина кассирша вышла за негра, душевнейший человек, ветеринар, как говорится, от бога. Русские песни поет. Мусульмане работники плохие, даже мой буржуй в рабы к себе на плантации только вьетнамцев берет. Мама-покойница в гробу бы перевернулась, если узнала бы, во что единственный внучок превратился. Думала, будет академиком, философом. На лекции возила в Пушкинский музей по выходным на электричке. А это мурло капитализма теперь в школу новый компьютер жидится купить, скотина. Сколько я абортов после Серёжки сделала, мать всё настаивала: учись, дочь; ученье — свет, а не пеленки… Не надо было, наверное, мне его рожать, эту прореху на цивилизованном человечестве… И я ему не указ, и все наши педагоги, а в библиотеку ко мне носу не показывает, не то что ремонт сделать. А сынка своего, моего внука, в платный лицей возит на «лексусе» тестя, начальника районного УВД, форменного мафиози. Тьфу!

Люба невольно прислушивалась к разговору двух женщин на переднем сиденье — обратила на них внимание, как только вошли в маршрутку. Одна — солидная, в макияже, с укладкой, дорогая сумка и удобные, но стильные туфли фирмы «Ара», полуортопедические. Взгляд уверенный. Видимо, чиновница или местная бизнесвумен. Другая явно постарше, неухоженная, седые волосы торчком, рваные кеды, джинсы, толстовка, рюкзачок. Из рода пенсионерок, приезжающих вспомнить молодость на бардовские фестивали. С некоторых пор Люба стала приглядываться к женщинам постарше, прислушиваться, как будто примеряясь сама к неотвратимому будущему. Вот той крупной точно за пятьдесят, может быть, даже пятьдесят три или вовсе пятьдесят пять. На восемь или десять

лет старше Любы. Что с ней самой будет через десять лет? Где она будет, с кем, кто будет ее окружать?

Маршрутка остановилась на светофоре, перед поворотом на Саввинское шоссе, у сквера возле Дома бракосочетаний. В сквере играли дети, на ступеньках здания подросток говорил по мобильнику, энергично жестикулируя. Пышная ветка рябины с набирающими цвет гроздьями почти касалась окна маршрутки. Всё-таки здорово, что сегодня совещание отменили, и она вырвалась сюда, никого не предупредив, ничего не запланировав. Даже Вере не сказала. Свобода! И август просто великолепный — не жарко, почти без дождей, можно не включать надоевший кондиционер дома, а тут, в Подмосковье — просто рай! Подумать только, полчаса на электричке — и другой мир… Как раз то, что нужно, чтобы собраться с мыслями и приготовиться к дальнему путешествию… Молодец Люба!

Кто-то постучал в дверь маршрутки. Водитель открыл. Пожилая женщина медленно забралась в кабину.

— Не положено, знаете ведь!

— Знаю, знаю, мне бы только до кладбища.

Неопрятный платок, замызганная матерчатая сумка. Морщинистое худое лицо без выражения. Пьет?

— Мне по социальной.

— Не принимаем, — водитель снова распахнул дверь. — Или платите, или ждите автобус.

— Да мне бы только до кладбища, к сынку, он афганец, — заверещала женщина.

Люба вытащила кошелек, пытаясь расстегнуть отделение для мелочи, молния заела.

— Не волнуйтесь, возьмите деньги, — «чиновница» уже протягивала пятидесятирублевую бумажку. — Проходите.

— Спасибо, милая, мне сегодня надо до кладбища, у сынка день рождения… В Афгане погиб, у Кабула, всего полгода прослужил.

— Вы субсидию-то получаете регулярно? — деловито спросила «чиновница». — Недавно прибавили. Что как?

Принесите документы, всё, что есть, в пенсионный фонд, там специальное окошко.

— А наш тоже в Афгане, — вдруг подала голос «пенсионерка с рюкзачком», — он тоже всего год там был, из Кандагара привезли в цинковом. У него сегодня день рождения.

— А кто он вам, родимые? — заинтересовалась женщина.

— Друг, — неожиданно хором, после минутной паузы, ответили двое. — Одноклассник, — добавила «чиновница», — Сергей Павлишин.

Маршрутка подпрыгнула и покатила дальше.

Вот уже десять лет после смерти бабушки, нечасто, раз или два в год, Люба приезжала сюда — не в день рождения Степаниды Николаевны, никогда не получалось, так как сессия, а как сегодня — незапланированно, для себя самой неожиданно, и всякий раз выходило, что эта поездка оказалась важной. Не то чтобы в Любиной жизни что-то менялось или решались насущные дела, но что-то выравнивалось, устаканивалось, как сама Степанида Николаевна говорила. Она не рассказывала никому об этих поездках, ни Вере, ни Шандору, ни сыну, ни даже отцу, они были как будто тайной. Хотя какая там тайна — к бабушке на кладбище приехать…

За окном мелькали знакомые с детства места. Незасеянное поле, за которым виднелся нарядный, недавно покрашенный синим купол Саввинской церкви — ах, какой там изразцовый иконостас, просто чудо, она показывала в прошлом году коллегам-американцам!.. Выстроенный на месте сгоревшей больницы новенький перинатальный центр, долгожданный подарок жителям города от мэра — он предварительно снес все детские дома и старенький роддом, в котором появилось на свет не одно поколение жителей города и прилегающих колхозов… Оставленный хозяевами дворец в ориентальном стиле — резиденция пять лет назад убитого в перестрелке с местной братвой цыганского барона — заброшенный, с разбитыми окна-

ми… Главная остановка — деревня Пуршево: тут большой по местным понятиям торговый центр «Гранд», строймаркет, пиццерия «Венеция»…

Бабушка. Степанида Николаевна. Несгибаемая коммунистка, представительница мира, которого больше нет… Что, в сущности, помнит о ней Люба? Красная помада, тщательно уложенные седые локоны, неизменный лак на пальцах, которые так ловко лепят сотни пельменей на заморозку, мнут капусту (Люба всегда трет морковку в помощь), моют пол, подписывают протоколы партийных собраний… Бабушка работала в Кузбассе на шахте, была первой женщиной — главным геологом, наверное, первой в мире, которая работала в таких условиях и на такой ответственной должности. Из нищей рабочей семьи, поэтому ее в 1938-м и направили на эту ответственную работу, когда всех старых спецов пересажали или просто убили. Она мало рассказывала. Но всегда говорила о том, что после 15 километров под землей — а это была ее еженедельная смертельно опасная, кстати, прогулка — в глазах, ушах, под ногтями оставался уголь. А она всё равно делала маникюр. Маникюр делали тогда ссыльные немки из Поволжья или западные украинки; и одежду шили западные украинки. И Любиной маме в музыкальной школе преподавала профессорша из Львовской консерватории.

Послевоенная реальность, Кузбасс… Люба жалела, что не расспросила больше. Далекая жизнь, советский проект, всё это так давно… Бабушка была очень четким человеком, всегда активным — стала в поселке, куда они после 25 лет работы в Сибири приехали с дедушкой, секретарем партийной организации, еще в 1970-е возглавила работу по проведению водопровода и газа в поселке. Как ей это удалось, кстати? Дедушку уже парализовало после инсульта, Люба только что родилась. Ее родители-геологи работали на Севере, бросив малышку на Степаниду Николаевну… Люба даже называла ее мамой лет до четырех… О том, что маминым отцом был не дедушка Владимир Иванович (помнит его в полосатой пижаме, с палочкой и папи-

росой, от которой так и не смог отказаться), а совсем другой инженер, репрессированный по делу старых специалистов в 1938-м, она узнала уже после развода с Сашей, случайно, от бабушкиной сестры. Отец подтвердил и, добавил, пытался узнать, кто это был, перед самой бабушкиной смертью. Люба была в это время на стажировке, приехала уже на похороны. Отец сказал: бабушка отказалась на вопрос отвечать, мол, не помнит. Люба так и представила, как она прикрывает веки и тщательно выговаривает: «Не помню». Помнила, конечно. Не захотела. Унесла с собой.

Маршрутка остановилась. Никто не вышел и не зашел, ехали на кладбище, сойдут на конечной, но водитель, соблюдая правила, задержался, открыл двери.

— Ты знаешь, что я хотела тебя убить? — вдруг неожиданно громко спросила «чиновница»?

— Конечно, — безразлично ответила пенсионерка-«каэспешница».

Люба невольно вновь прислушалась к странному разговору. Одноклассницы! Никогда бы не подумала.

— Я сразу поняла, когда тебя увидела тогда на дискотеке. Я-то раньше тебя с ним была, у нас любовь — не то что ты со своими ментовскими делами, типа у тебя папаша — участковый, а он у него на учете. У нас всё было по любви. Но я, конечно, подготовилась, знаешь, как женщины-террористки, Софья Перовская, Вера Засулич… Мне мама о них рассказывала, она же историк. Конечно, бомба — не то, я бритву взяла у отчима… Острая такая. Прятала в трусах.

— Прямо бритву?!

— Готовилась, короче. А потом мы с тобой Эльку застукали, как она за сценой с Серёгой… Вдвоем, помнишь? Он пошел петь, а мы за нее взялись, сучку, а она заори: не тронь, я беременная! Я тогда не знала, что я тоже, от Серёги… Когда узнала, тут же сделала аборт. А потом сколько еще…

— А я не залетела как раз. И пошла к Витьке, он давно домогался. И вдруг! Я ходила, анализ проверяла, тогда было очень редкое дело! От Витьки, дурака! Я на аборт, конечно. Потом — ни разу, ни от кого. Витька думал, я от Серёги аборт сделала, женился. Но какой от него прок, дурак дураком — разбежались. Несостоятельный мужик, подкаблучник. Мне всегда такого, как Серёга, хотелось... Витька снова женился, дочку завел, а когда я Марьяну домой привела — вернулся. Болеет теперь... Пасеку контролирует, мед, пчёлы... — «чиновница» громко чихнула. — Аллергия на мед, понимаешь? Сколько лет мы не виделись? Восемь? Десять?

— Я «Курвуазье» купила, помянуть, — «каэспешница» тряхнула рюкзаком, — всё-таки день рожденья Серёги. Ты, кстати, с ним «Курвуазье» пила?

— Еще бы!

— После дискотеки, скажи?

— До! У отца была в баре бутылка, кто-то припер, Серёжка в окно ко мне пролез, мы бар открыли... Отец потом на племянника грешил, так и не понял, кто бутылку спер...

— А мы — после дискотеки, в садике у школы. До этого он мне целый месяц про «Курвуазье» говорил, что после него — рай... — Засмеялась: — Попьем рай?

— Точно, десять лет. Конечно, попьем!

Маршрутка остановилась у ворот кладбища. Служительница открыла ворота, машина въехала на территорию и остановилась перед ритуальной конторой, где продавали искусственные букеты и венки, чахлые оранжерейные гвоздики и лампадки, несколько женщин предлагали астры и рассаду, уже редкую в августе. Люба не успела купить цветы на вокзале, поспешила к ним и обмерла — «разбитое сердце»!..

Этот любимый бабушкин цветок рос у самой калитки перед крыльцом большого вешняковского дома — капризный, в отличие от неприхотливых флоксов и люпинов, долгоиграющих бархатцев и стойких георгинов. Цвел кратко, чах быстро, требовал особого полива, удобрений, но ба-

бушка ценила его не меньше «огоньков» (в Подмосковье их называли «жарками»), которые напоминали ей родные сибирские луга и речку Яю, куда она сама ездила с первым в Кузбассе детским садом, организованным польской педагогиней-подвижницей Марией Лянге, и потом, в пионерлагерь, отправляла Любину маму, Ангелину…

Мама, вдруг вспомнила Люба, тоже любила «разбитое сердце». Каждый раз, когда они с отцом приезжали из своих командировок, подолгу сидела у крыльца на лавочке, смотрела на цветок, пропалывала своими тонкими пальцами, думала о чём-то… Мамин образ возникал в памяти редко и наполнял нежностью и печалью. Она погибла давно, когда они еще жили с Сашей. Владик только родился, бурные 1990-е, в магазинах голо, по телевизору революция, книги и журналы громоздятся на столе в кухне — не хватает сил всё прочитать, и страшно, мучительно хочется спать, утром, днем в библиотеке за конспектами, в длинной очереди в подвале Ленинки за обедом, в очереди за детским питанием; размешивая кашу, с Владиком в одной руке; за столом с друзьями, где Саша гарцует, пересказывает последние публикации и все перебивают друг друга…

Когда принесли телеграмму об аварии под Вилюйском, там было кратко: отец в больнице, мама скончалась на месте. Люба думала, что у нее раскололось сердце — как будто острой спицей пронзило грудную клетку, нечем стало дышать. Хорошо, что бабушка как раз приехала из Вешняков, подхватила, Владика посадила в манеж, вызвала «скорую». Только потом заплакала.

С тех пор у Любы только раз еще прихватывало сердце — когда Саша уехал последний раз в Моздок. Хотя ничего не предвещало беды, да и развелись они к тому времени уже три года как… А когда бабушку хоронила — не болело. Только пустота, леденящая душу пустота… Кажется, она и не отпускает с тех пор окончательно, только притихает на время, даже забывается, но возвращается неизменно, как лихорадка на губе.

— Георгин купите, до октября будет цвести, — продавщица перехватила Любин взгляд.

— Мне бы вот этот. Сколько?

— «Сердечки»? Да за триста отдам. Последний кустик выкопала, надо было место для нового парника освободить. Я вам коробку дам, чтобы легче нести.

Коробка оказалась очень неудобной, пришлось завернуть в контору, попросить маленькую тачку, заодно прихватить лопату и лейку. Налегая на тачку, она бодро зашагала по главной аллее. Наверное, довольно нелепо всё это выглядит, мелькнуло в голове, — на каблуках, в белом костюмчике от «Энн Кляйн», с этой тачкой. Ну да ладно! Ну и пусть!

Всё-таки здорово, что она сюда вырвалась. А то могла бы не успеть: до отъезда осталось чуть больше недели, а там кафедра, бумажная волокита, передача последних материалов курса Вериной аспирантке — пусть растут молодые кадры! Аспирантка Любе не очень нравилась, амбициозная, резкая, но очень упорная, следила за последними публикациями, использовала их на семинарах; в отличие от преподавателей со стажем, ее любили студенты. Она сразу метила на место Любы, как только стало известно, что та уедет на два года в Балтимор по программе обмена. Ладно, пусть развивается. И заведующей, Вере, приятно. Всё-таки лучшая подруга еще со школы, почти близняшка. Удивительно, практически все на кафедре уверены, что она через два года не вернется в университет. А она сама?

Кроны огромных лип над главной аллеей почти смыкались, образуя зеленую арку, солнечный свет лишь местами пробивался сквозь листву, падая на неровный асфальт светлыми пятнами, кое-где сквозь асфальт пробивалась трава. Люба пыталась вспомнить названия всех цветов-самосевок на обочине: вот незабудки, барвинок, поодаль мать-и-мачеха, пижма, аквилегия, лунарий… Когда-то они с бабушкой принимали участие в выставке цветов в веш-

няковском клубе, составляли композиции, делились с посетителями (те же поселковые и дачники с детьми) опытом выращивания растений. Люба не очень любила огород, старалась увильнуть от прополки и прореживания морковки и огурцов, но цветами увлекалась, весной считала дни, когда наконец настанет пора высаживать луковицы тюльпанов или гладиолусов… Долгими вечерами в вешняковском доме, выучив уроки, она читала вместе с «Библиотекой приключений» статьи о растениях мира из «Науки и жизни», представляла себя в будущем исследователем редких видов где-то в сельве Амазонки или африканских джунглях. До пятого класса она жила у бабушки, ходила в вешняковскую школу, пела в пионерском хоре и перед 7 ноября выезжала с классом на торжественные утренники в Железнодорожный, где сначала все мерзли на линейке у горсовета, а потом шли на концерт песни-пляски местной самодеятельности. Всегда хотелось в туалет, но он был один в кинотеатре «Родина», и приходилось подолгу ждать, пока освободится кабинка…

Из Вешняков она уехала, когда родители вернулись из Якутии в Москву, и как-то сразу забыла сельскую жизнь, окунувшись в иной ритм, новую школу, друзей… В восьмом классе к ним пришла новенькая, Вера. К бабушке приезжали на выходные потом — с Верой, Сашей и друзьями. Саша вдруг увлекся историей Балашихинского района, познакомился с краеведами из Кучино, вместе с ними стал собирать материал для музея Андрея Белого, ходил на субботники реставрировать храм у Бисеровского озера, где раньше был склад. Тогда же Саша вдруг решил изменить тему диссертации — была вполне приличная, про поэзию Серебряного века и ее отголоски в современных текстах, но он решил написать о фигуре террориста в «Петербурге» Андрея Белого как предтече нового героя. Научный руководитель не понял, возник конфликт, в конце концов Саша вообще ушел из аспирантуры, но это было уже позже…

Теперь в музей Андрея Белого приезжают экскурсанты, а церковь, нарядная, отреставрированная, возвышается на берегу озера, как игрушка, и уже дважды была объектом внимания прессы. Один раз, в конце 1990-х, в ней устроили разборку «братки», балашихинские схлестнулись с ногинскими. Потом — выгнали священника, веселого отца Симеона, за то, что продал все старые доски из иконостаса, собирали несколько лет по всему району, заменив их новоделом… Согрешившего не посадили, перевели в дальнюю деревню, теперь в Бисерово новый батюшка, степенный, пожилой…

Она почти дошла, когда зазвонил телефон.

— Good morning, my sweety! — звучный баритон Шандора преодолевал километры и часовые пояса.

Поразительно, как он умудряется позвонить не вовремя.

— Good morning, darling…

Шандор бодро сообщал, как обычно, тщательно выговаривая каждое слово, что к выходному — Дню труда — зарезервировал отель, у чудного озера, так и называется, «лейк отель», недорого и очень красиво. И привезет с собой желтые простыни, ей очень понравится. Только что купил по онлайн-сэйле. Ждет и скучает. А теперь идет на тренировку, приехал новый коуч, они вместе дадут мастер-класс начинающим теннисистам. Очень ждет и скучает.

У Любы вдруг испортилось настроение.

Он учил в школе русский язык, как все тогда в Венгрии. Почему он никогда не разговаривает с ней по-русски? Английское произношение ему дается с трудом, сам жаловался, что к языкам способностей нет. Ни разу…

С Шандором они познакомились на Всемирном конгрессе славистов в Польше, сотни историков, политологов, филологов, изучающих бывший Восточный блок, из всех стран — такой академический мини-Вавилон. Оказались за одним столиком на завтраке. Социолог, исследователь семейных ценностей. Частный колледж недалеко

от Ниагарского водопада, с американской стороны. Только что развелся, жена уехала назад в Будапешт. Сын — спортсмен, в сборной штата по бейсболу. Он рассказывал о себе, как на собеседовании при приеме на работу — это Любу страшно развеселило. Потом он говорил, что заметил ее еще вечером, но не знал, как познакомиться. Несмотря на выигрышную внешность (коллеги-славистки сразу его оценили — высокий, яркий брюнет), он оказался довольно замкнутым. Иногда Любе казалось, что в то утро он подсел к ней лишь потому, что решил — ему пора завести приятное знакомство. Он плохо знал литературу, и в первую ночь Люба пересказывала ему «Одиночество в сети». Больше всего Шандора поразило, что героиня обрела уверенность, надев желтое белье. Он несколько раз переспрашивал, что это значит. Когда через полгода она приехала к нему в гости, он подарил ей желтую ночную рубашку.

Они встречались уже три года, то там, то здесь, благо академические обменные поездки получали поддержку довольно легко; Шандор познакомился с Владиком, когда тот был на каникулах, расспрашивал о Кембридже, мечтал, что его сын когда-нибудь тоже получит стипендию в Кембридж или Оксфорд, но тот пока предпочитал бейсбол. Вера, как только увидела Шандора, вынесла вердикт: это твой шанс. Красавец, доцент и американец. Вера всегда была предельно конкретна и точна в определениях.

Теперь, когда она будет преподавать в Балтиморе, надо будет что-то решать. Договорились пока встречаться каждый второй уик-энд. Как это называется, дистанционный брак? Модно, современно. Практично, наконец. Многие к этому приходят после сорока, живут отдельно, встречаются, когда захочется, не надоедают друг другу. Психологи говорят, это помогает сохранить остроту чувств и радость сексуальных переживаний. С этим у Шандора всё в порядке, не скажешь, что скоро пятьдесят. И к Любе он относится идеально, звонит дважды в неделю, интересуется ее работой, о себе рассказывает всё, кажется. Кажется?

Может быть, у него там у водопада есть какая-нибудь ундина? Молодая кандидатка в спутницы жизни? Вряд ли. Не только потому, что городок маленький, все на виду. Шандор слишком правильный и хорошо организованный для интрижки. И покупает со скидкой желтое белье, со скидкой непременно…

Наконец дошла. Чуть облупилась оградка, надо будет на обратном пути в конторе заплатить, чтобы покрасили до дождей. Скромные гранитные памятники — бабушка, дедушка, мама (ее памятник в виде тюльпана — бабушка чудом нашла такой камень в мастерской). Многолетний папоротник, барвинок, отцветшие пионы, заросшая травой цветочница. Как раз место для «разбитого сердца»! Каблуки, конечно, не к месту, и маникюр пропадет, ну и пусть! Люба сбросила жакет, повесила на ветку рябины и принялась за работу.

Через полчаса она с удовлетворением смотрела на результат непривычного труда, тщательно протирая ладони влажной салфеткой. «Разбитое сердце» преобразило участок. Надо будет заплатить рабочим, чтобы поливали цветок.

Люба с детства любила, чтобы во всём был порядок. В огромном бабушкином доме это получалось не всегда: Степанида Николаевна была импульсивна, могла с вечера оставить немытой посуду, увлечься разговором со своими «коммунистами», радиопередачей, не приготовить вовремя ужин, и Люба грызла сухари, уткнувшись в книжку. Книжки она расставляла и вытирала с них пыль самостоятельно, составила каталог. Всё это было полностью разрушено Сашей, который мог втиснуть толстый журнал на полку учебников, а раритетную, привезенную еще из Сибири, энциклопедию запихнуть в залежи детективов, которые любила мама. Любу это бесило, она старалась сдерживаться, но не всегда получалось. С общим их с Сашей коротким бытом было еще хуже: он не то чтобы ставил ботинки на стол, но разбрасывал вещи повсюду, грязные носки вместе с детским бельем, и на замечания только высо-

комерно пожимал плечами — не мужское то дело, разбирай сама, если хочешь… И, дымя «столичной», погружался в чтение, не замечая, что пепел падает мимо.

Его родители, так же, как и Любины, были геологи, правда, работали не на Севере, а в Казахстане и потом в Африке, оба крупные, веселые, любители шумного застолья… После того как Люба с Сашей развелись, приезжали самостоятельно к Любе и Владику, обожали ходить с внуком в зоопарк, рассказывали, как живут на воле львы и антилопы… Они умерли один за другим неожиданно: свекровь — от тромба после удаления желчного пузыря; он — от инфаркта, в один год…

Саша оба раза был на Кавказе. Он после первой чеченской совсем забросил диссертацию, познакомился с правозащитниками, вместе с ними искал следы пропавших без вести, ездил опознавать останки, ходил на митинги… Люба хоронила, устраивала поминки… Господи, как давно это было! Как она вообще с этим всем справилась? Бабушка не дала бросить аспирантуру, стала продавать книги. Сначала «Библиотеку всемирной литературы», потом Брокгауза и Ефрона, дореволюционные раритеты… Вера — подруга, сестра — всегда была рядом. Больше, чем сестра. Как они похожи — только Вера, более целеустремленная, всегда знала, что нужно делать. И Любе помогла не растеряться. До развода, точнее, до кризиса отношений, они были неразлучны — Вера, Люба и Саша, благо учились на одной кафедре, но когда всё произошло, Вера стала для Любы главной защитой.

Как она будет в Америке без Веры? Конечно, можно по скайпу разговаривать часами, спасибо технологиям. Но разве это то, что нужно?

Вера — молодец, она замужем второй раз и родила второго ребенка уже в тридцать пять; теперь дочка — школьница, муж торгует трубами для газопроводов, души в ней не чает. Был почти бомжом, когда Вера с ним встретилась. Женщины делают жизнь, всегда говорила Вера. Она права. Люба тоже старалась. После смерти бабушки

дом в Вешняках сдала в аренду, теперь там многодетная семья, деньги каждый месяц переводятся Владику в Кембридж. На одну стипендию там трудно. Владик скоро получит диплом юриста, уже готовится в магистратуру, выбрал хорошую тему — страхование иностранного бизнеса в Великобритании. И снова Вера тут постаралась: она работала в министерстве, нашла вовремя стипендию в Кембридж для выпускников языковых школ, Владик поехал учиться в цитадель европейской науки… Встречается с русской там, дочерью известных фигуристов. Она тоже учится на юридическом. Скоро встанет на ноги. А у Любы будет новая жизнь. Жаль, что бабушка не застала… Кто всё-таки был отцом мамы? Почему она никогда о нём не рассказывала?

Снова зазвонил телефон.

— Люба, я ухожу из партии! — срывающийся на крик голос отца. — Они решили поставить памятник Сталину! Убийце! Я уже сказал в нашей ячейке! Как можно ставить памятник убийце в Якутске, где столько людей погибло? Я ползал там на брюхе, я видел незахороненные кости, я никогда не забуду, никогда не забуду… — он закашлялся.

— Папа, папа, успокойся! Римма с тобой?

— Риммочка как раз пошла в магазин, — отдышался отец, — она мне не разрешает нервничать. Но я точно из партии выхожу! Мне с ними не по пути! Коммунизм и Сталин несовместимы, слышишь?

— Папа, я к тебе сегодня заеду. Передай Римме, что вечером непременно буду. И не забудь ей напомнить, чтобы твою последнюю эхограмму подготовила, мы должны в Бакулевский съездить до моего отъезда.

— Хорошо, Любаша, скажу, ой, кажется, она уже дверь открывает, целую тебя крепко!

После трагедии под Вилюйском отец долго лечился и как-то резко сдал, перенес два инфаркта, ездить на Север уже не мог, преподавал в институте, где-то консультировал, через какое-то время неожиданно для всех вступил в

компартию (до этого считал себя едва ли не диссидентом, презирал коллег, которые ради карьеры стремились в советское время в КПСС), стал ходить на митинги с красными знаменами, ратовал за соединение коммунистических тезисов и христианских. Его бывшая ассистентка, Римма, встретила его на митинге. Риммин сын только что уехал в Хайфу на ПМЖ, она никогда не была замужем, а отца всегда боготворила. Кажется, всю жизнь была влюблена. Лучшей спутницы нельзя было придумать. Римма вкусно готовила, мерила давление трижды в день, напоминала о лекарствах и любимых программах по «Эху Москвы», сопровождала на митинги и с неизменным восторгом слушала рассказы о далеких экспедициях, партсобраниях или давно умерших товарищах-геологах. Римма обещала регулярно звонить по скайпу и присматривать за квартирой Любы, которую она в последний момент решила не сдавать, а оставить на всякий случай — вдруг Владик приедет с девушкой, или Верина старшая дочка решит пожить отдельно от матери с отчимом.

Отца бабушка не любила, считала, что он виноват в том, что мама страдала и вообще рано погибла. Хотела для нее другого мужа, из партийной номенклатурной семьи, но мама влюбилась в нищего студента, сына раскулаченного, и, едва тот закончил политехнический, укатила за ним в Якутию. Плакала от ревности из-за отца (Люба помнит смутно, сама ревновала), помчалась в Вилюйск, когда написали, что у отца с кем-то из медсестер закрутился роман. Любила отца больше, так казалось, чем ее, Любу, оттого и придумала ей такое имя. Люба его ненавидела, в начальной школе даже просила называть ее Гелей, типа тоже Ангелина, как мама. На тетрадках писала: Люба-Геля. Потом Саша ей объяснил, что Любовь — имя музы Блока, Любови Дмитриевны, и она тоже должна быть музой. Когда к ним приходили гости, просил ее нарядиться в бабушкино платье из тяжелого шелка с панбархатом и сидеть под абажуром в профиль к гостям, сохранились фотогра-

фии… Но это еще до Владика, потом всё пошло по-другому… Боже, неужели то всё было с ней?

Она вдруг вспомнила их малогабаритную кухню, запах табака и кофе, неизменные сухарики в миске, разбросанные конспекты, синий заварочный чайник и две кружки с леопардами, подарок свекров. Это было! Несмотря на то, что она хотела вытеснить это из памяти, как будто стереть ластиком… Почему всё-таки они развелись? Из-за того, что приставал к Вере, когда она была с Владиком в больнице? Что назвал ее примитивной курицей, когда Владик лежал с температурой, а Саша собрался на Соловки изучать наскальные записи расстрелянных? Из-за грязных носков в коробке с ползунками? Из-за безденежья; наконец, политики, которая увлекала его всё больше и больше, так, что он вообще ее перестал замечать; из-за чеченцев, женщин и детей, которые начали приходить в дом и ночевать, будто бы к себе в саклю, не обращая внимания на нее и Владика, как на мебель? Она не могла вспомнить, не хотела. Не хотела помнить тот ужас обиды и одиночества и пугающее нежелание продолжать жить, соблазн вот так всё разом покончить… Думала об этом ночами (Саша уже редко бывал дома), в ужасе подскакивала к кроватке со спящим малышом, впивалась в перекладины до боли — нет, надо быть тут, с ним, кто ему еще поможет… В какой-то момент поняла: она должна всё закончить, иначе просто не выдержит, и сделать страшное. На развод он не пришел, прислал чеченского мальчика с заявлением, что не против и претензий не имеет. Судья, увидев изможденную Любу с Владиком на руках и заляпанное заявление, решил всё быстро.

Бабушка на новость не отреагировала никак. И всячески поддержала Любину идею поехать в группе аспирантов в Америку на встречу молодых ученых, взяла Владика к себе. Слушала ее рассказы, качала головой: у нас американцы только в 1930-х были, завод строили. По-русски мало кто говорил, с ними переводчик был, его потом арестовали, вышел уже после войны…

— А вот я возьму и выйду замуж за американца и уеду, ты со мной? — смеялась Люба. — Там тоже коммунисты есть, только больше троцкистов.

— Всё равно вернешься, — уверенно отвечала бабушка. — Ты однолюб.

— С чего взяла?

Почему-то она никогда не рассказывала про любовь. Про родных, сослуживцев, ссыльных, про свое детство и комсомольскую юность, про бессонные ночи в шахте, потому что Сталин не спит (наверное, он утром отсыпался, а в Кузбассе уже начиналась смена). Про чужие судьбы и драмы. Про то, как дедушку арестовывали, и ее брат, полковник НКВД, его выручил — через год отпустили, а то закатали бы после аварии как сына старого спеца. (Да, дедушка был сыном управляющего шахт, играл на скрипке, пел «дайте мне за три червонца папу от станка».) И повторяла: «Успей сказать самое важное тем, кого любишь». Что, кого имела в виду?

Кто был Любин настоящий дедушка? Отец мамы? Репрессированный инженер? Энкаведешник, как бабушкин брат? Партийный активист, оппозиционер, агитатор? Простой шахтер? Бабушкины фотографии 30-х она хорошо помнит — хранятся в дальнем ящике: гордая посадка головы, ясный взгляд, шляпка… Что от нее передалось сочетанием генов? От того неведомого настоящего дедушки? Как мало она знает о том ушедшем мире, как несправедливо, что невозможно уже спросить.

— Нужно будет через год непременно поехать в город Анжеро-Судженск, — вдруг вслух сказала она, и сама удивилась. Повторила уже мысленно: — Я туда поеду. Летом. На каникулах, — и улыбнулась.

Телефон снова затренькал. Люба с неприязнью посмотрела на экран. Но это было всего-навсего сообщение о том, что в Балтиморе начался рабочий день, она заранее поставила соответствующий сигнал.

Как раньше люди жили без смартфонов? Вообще без связи, бегали к автоматам, выстаивали у почтамтов… Еще

недавно так жили все, а теперь… Как быстро забывается всё неприятное, неудобное…

Пришло еще одно сообщение из Балтимора: ее авиабилет направлен на электронную почту, просьба подтвердить.

Люба отряхнула жакет, аккуратно, стараясь не испачкать руки снова, поместила лопату и лейку в тачку и осторожно покатила к выходу.

На лавочке перед воротами, она увидела двух женщин, тех самых недавних попутчиц — «чиновницу» и «пенсионерку-каэспешницу». Они сидели обнявшись, раскрасневшиеся, в средней поддатости, и одинаково полутрезво смотрели вдаль, как будто видели там что-то или кого-то. Два пластмассовых стаканчика сиротливо примостились на лавочке, на траве валялась трехсотграммовая фляжка «Курвуазье».

«Как сестры», — вдруг подумала Люба.

Она вытащила телефон, набрала Веру:

— У тебя сохранилась Сашина папка? Про «Петербург»? Подруга после секундного замешательства отозвалась:

— Лежит. — Еще пауза: — А ты откуда знаешь?

— Он мне звонил, когда улетал в Моздок. Сказал, что у тебя, если что.

— Так и сказал?!

— Да. Не захватишь завтра, я хочу с собой взять, может быть, получится что-то опубликовать там, в Америке в смысле…

—Тогда конечно… Я ее не открывала с тех пор. Слушай, а он правда тебе перед вылетом звонил?

— Ну да. Я сама удивилась тогда.

— Принесу, конечно, — телефон отключился.

Почему, кстати, он оставил папку Вере?

И как странно, что через столько лет так сразу всё вспомнила… В груди шевельнулось что-то вроде давно за-

бытой ревности… Ну так что ж! Значит, она его тоже помнит. Но почему она раньше не посмотрела эту папку?! Точно, надо опубликовать, она сделает это.

Любе стало неожиданно легко и радостно. Она теперь точно знает, что надо делать…

Люба сама не заметила, как прошла остановку, не заметила, что оторвалась набойка на босоножках, что песок натер пальцы, что мимо промчалась уже вторая маршрутка, а до трассы, где можно найти такси, еще километр или полтора.

Она шла по разбитой дороге и улыбалась новой жизни, той жизни, которую она сама себе выберет и о которой еще ничего не знает.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Тетю Розу Вера увидела во сне в ночь на 9 мая. Она стояла у клумбы с распускающимися красными тюльпанами, в летнем платье в крупный горошек, и махала ей рукой. Вера прижалась к дереву, огромной старой черемухе в крупных кистях-соцветиях, пряный запах забивал ноздри, она хотела крикнуть что-то тете Розе, но та уже исчезла. Точно, это парк в их подмосковном поселке на улице Ленина, только черемуха росла не там, а на Вокзальной, неподалеку от станции…

Вера проснулась. Заледенели ноги, она быстро сбросила два одеяла, нашла толстые пуховые носки. Забыла надеть вечером, последнюю неделю без носков спать было просто нельзя, несмотря на работающий масляный обогреватель. Могли бы не отключать отопление хотя бы в карантин.

Запах черемухи не проходил, наполнял холодную комнату.

Она пошла на кухню ставить чайник.

«Неужели всё-таки заразилась?» — была первая мысль. Пишут, что при ковиде первым делом пропадает обоняние, главный угрожающий симптом. А вдруг наоборот? О вирусе писали разное, он непонятный, в сети обсуждают последствия его воздействия на нервную систему и органы чувств.

Вера взяла градусник, померила на всякий случай температуру. Но температура была нормальная и голова ясная, несмотря на то, что допоздна вчера проверяла работы китайцев о Дне Победы и даже переписывалась с одной студенткой, лучшей из группы, которая упорно не понимала разницу совершенного и несовершенного вида.

«Советский Союз побеждал в Великой Отечественной войне» — вместо «победил».

Китайцы изматывали, но ей было их жаль, многие не смогли вернуться домой из-за эпидемии, с ними никто не хотел общаться, и в доме аспиранта и студента они стали еще большими изгоями. Хорошо, что еще стипендию платили (из КНР заранее перевели университетскому центру деньги), но о привычной подработке, доставке еды или китайских закусочных, пришлось забыть. А как им без них? На уроках многие спали или играли в какие-то игры на гаджетах, она это видела, но старалась не раздражаться и ставила всем положительные оценки. Пусть у них будет шанс.

Тетю Розу она никогда не видела во сне. И в жизни видела ее последний раз, кажется, лет тридцать назад, уже больную раком, перед отъездом в Израиль на ПМЖ. Сын Григорий уехал раньше. Тети Тани тоже не было, она лежала в больнице с почечной недостаточностью. Вера мучилась молочницей, прибежала попрощаться. Помогать со сборами не пришлось — молчаливые сотрудницы еврейской организации всё сделали сами. Роза продала организации квартиру за две тысячи долларов, которые аккуратно и со знанием дела зашила на глазах Веры в белье и подкладки. Кажется, тогда еще не разрешали вывозить из страны валюту.

Она сидела в огромном кресле, грузная, и тяжело дышала. Но глаза светились, как всегда, озорным блеском.

— На посошок?

— Я кормящая, мастит…

— Да ладно, ладно, — она мазнула рукой, — как будто я не знаю, как это. Только больше сцеживаться будешь. Смотри, что у меня есть, из Танюшкиных запасов. — И удивительно ловко, не поднимаясь с кресла, открыла шкафчик, достала пол-литровку, налила в граненые стаканы, заставила выпить. Украдкой взглянула на дверь: — Мне не разрешают, глупые. Не понимают.

Бесшумно спрятала бутылку и стаканы, откинулась.

— Головку держит хорошо? — спросила о сыне. — Уже сидит? Ну молодец, молодец! Как Виктор? Рисует? Видела его на митинге. Не отпускай его, он тебя любит.

Вера помнит, как эти слова укололи. Тетя Роза не спросила о ней, о том, как она себя чувствует, сразу о Викторе. Как будто ее и нет совсем. И когда она успела на митинг, ведь почти не ходит? Попрощались скомканно. Думали, на время, оказалось, навсегда.

Тетя Таня ненадолго ее пережила, совсем замкнулась, похудела, ей назначили гемодиализ. Перед тем как лечь в клинику, она позвонила Вере, попросила приехать и передала завещание на свою однокомнатную квартиру на Студенческой улице. На похороны Розы ее не пустили, это, кажется, было главное, о чём она искренне жалела. Велела себя кремировать.

К ящику в колумбарии Новогиреевского кладбища Вера приезжала каждый год, в ее день рождения — 7 ноября. Всовывала цветы в углубление и вспоминала всех близких: похороненных в Забайкалье родителей, дедушку с бабушкой, тетю Розу, Виктора… Задавалась вопросом: почему она их всех, в сущности, так мало знала? Было бы что-то в жизни иначе, проживи они дольше? Смогли бы они с Виктором прожить долго и счастливо вместе?

Отсутствие тети Розы Вера чувствовала очень остро после развода — в душе образовалась зияющая пустота, сын болел, работа не ладилась, денег постоянно не хватало. Ночами, умирая от усталости за тетрадками учеников, в постоянной простуде, она вспоминала тетю Розу, склонившуюся за пишущей машинкой, в бигуди, чтобы завтра идти на работу, с папиросой, неизменно со следами помады, и сон уходил. Всё это было давно, в позапрошлой жизни, и вспоминалось с трудом.

Вера заварила кофе. Включила прямой эфир радиопрограммы, там говорили о начале праздничного воздушного парада и рекомендовали москвичам смотреть на него по телевизору и не подвергать себя риску, выходя на улицы.

Выключила радио. Все дни вынужденной изоляции, особенно когда стало ясно, что это надолго и непонятно, как быть, а пропаганда подготовки к юбилею Великой Победы нарастала день ото дня, ей постоянно хотелось отмыться, как будто лично участвовала в чём-то постыдном и липком.

Интересно, что бы сказала тетя Роза, увидев всё происходящее. Наверняка нашла бы какое-нибудь словечко. А вот тетя Таня — она всегда была прямая, четкая — припечатала бы ёмко и без купюр…

На самом деле, дальней родственницей Вериной мамы была тетя Таня, медсестра военного госпиталя, к которой Веру в пятом классе отправили после гибели родителей на Дальнем Востоке. Тетя Таня жила в просторной трехкомнатной коммуналке в «генеральском доме» на Фрунзенской набережной — занимала меньшую комнату, в двух других располагалась семья подполковника, с дочерью которого тетя Таня вместе служила. Роза, тоже фронтовичка, была третьей подругой, приходила к тете Тане почти каждый вечер.

Они были совершенными антиподами — тетя Таня, высокая, худая, как жердь, с неприбранными соломенными волосами, в неизменном бесформенном сером сарафане, и маленькая пышнотелая Роза, с голубыми тенями и яркой помадой… Жена подполковника ворчала, когда подруги засиживались допоздна в Татьяниной комнате и курили или когда Роза вообще оставалась ночевать, и, в розовом халате с райскими птицами и оставшихся с ночи бигуди, неизменно накрывала на всех завтрак — заваривала только что смолотый кофе и разливала его по тонким фарфоровым чашкам с ангелочками из красивого кофейника. На завтрак она резала колбасу, которой Вера никогда раньше не видела, удивительно вкусную, копченую, с тоненькими крапинками жира, открывала банку икры (из «лечебного питания», которое привозил по пятницам утром солдат в форме) — Вера не понимала, от че-

го лечится сосед. В их гостиной было много диковинных вещей: красивые вазы, инкрустированная перламутром этажерка, картины на стенах, в основном, пейзажи, гроты и приморские деревушки, в золоченых рамах и огромный рояль, на котором целая коллекция статуэток — греческие богини, орлы, снова ангелочки и вереница слоников.

— Что такое трофейное? — спросила Вера однажды за завтраком, вспомнив непонятное слово.

Татьяна скривилась. Соседка сказала: это из Германии.

— Из магазина «Лейпциг»? — догадалась Вера. Ее новая одноклассница рассказывала, что мать работает кассиром в «Лейпциге», где «выбрасывают» красивые кофточки и настоящие тонкие колготки.

— Из города Лейпцига, — строго сказала соседка. И перевела разговор.

Тети Танина комната была аскетична: узкая панцирная кровать (вторую поставила для Веры), тумбочка, шкаф, полки с книгами, огромное старое кресло, стол. Идеальный порядок не принято было нарушать, за разбросанные вещи Вера немедленно получала выговор. Тетя Таня уходила из дому в шесть, поднимала Веру, заставляла делать вместе с собой зарядку, потом — обливание холодной водой, несмотря на насморк и Верины слабые попытки сопротивляться. У нее был резкий голос и тяжелая рука, она могла дать Вере подзатыльник за невыученные уроки или минутное опоздание и не разрешала открывать книжный шкаф, пока не выучены и не пересказаны уроки и не составлен план выступления на политинформации. Вера надолго запомнила ее строгий взгляд. И потом, через много лет, с удивлением замечала за собой ту же придирчивость и занудство в общении со студентами, привычку по нескольку раз повторять и требовать повторения сказанного…

Тетя Роза была неряшлива и говорлива: за столом без конца роняла крошки, которые тетя Таня спокойно соби-

рала, а тетя Роза извинялась и снова роняла; её вещи, казавшиеся особенно яркими на фоне ровной серой гаммы комнаты, всегда были повешены второпях и криво; на страницы машинописи, которые она всякий раз приносила тете Тане, Роза нечаянно капала чаем и просыпала пепел. Таня монотонно укоряла, а подруга в сотый раз просила прощения и обещала, что такое не повторится никогда. При всей разительной несхожести, в них ощущалось какое-то глубинное родство и понимание, они часто продолжали мысль друг друга, не дослушав фразу до конца, синхронно сердились или радовались, только с тетей Розой, заметила Вера, тетя Таня улыбалась, переставала сутулиться. У тети Тани в шкафу всегда стояла бутыль медицинского спирта — они с Розой наливали по четверти стакана, запивали водой из графина. Татьяна приносила из холодильника соленые огурцы, они закуривали папиросы, читали стихи из тех машинописных страниц, которые приносила с собой Роза, и другие тексты, пугающие и непонятные, и разговаривали, не обращая внимания на Веру, которая не раз засыпала в кресле под звуки их голосов. Но какие-то обрывки заставляли проснуться. Это было про страшное. Трубы, собаки, Север.

— Откуда трубы? Водопровод? Какой? Как у нас в поселке? — продирая глаза, спросила она.

Подруги замерли на мгновенье.

— Спи, дорогая, — нашлась тетя Роза. — Мы читаем письма о том, как глупые люди убивали других людей за слова. И это очень плохо. Это не должно повториться.

То, что слова обладают реальной силой и могут принести беду, она поняла быстро.

Когда после урока мужества, где показывали фильм про ленинградскую блокаду и дневники погибших от голода детей, Вера написала в сочинении, что, может быть, следовало отдать город, чтобы спасти детей и женщин, учительница задержала ее после урока. В тетрадке алела жирная двойка.

— Ты должна уничтожить это сочинение, — сказала она. — И никогда так больше не говорить и не писать. И завтра пригласи в школу родителей.

На собрание пошла тетя Роза, тетя Таня работала. После этого вопросов к Вере больше не было.

Она поняла, что есть слова, которые лучше не называть при малознакомых: вохра, смерш, заградотряд, вертухай, АЛЖИР и другие. Хоть и не понимала их значения — как и матерных конструкций, которыми и Татьяна, и Роза владели виртуозно.

— Расскажи про войну, — просила Вера, — нам задали про подвиги наших дедушек написать, а у меня нет дедушки — только вы с тетей Таней: она зенитчица, а ты вовсе партизанка, герой Советского Союза.

— Только один орден Красной Звезды, не путай. Это ваш сосед пайки получает, — отнекивалась Роза.

— А что самое главное было на войне? Расскажи!

— Была любовь, — тихо ответила она.

От Розы, точнее из ночных разговоров, она впервые узнала о том, как убивали евреев.

— Но за что, тетя Роза? И детей? За что?! Почему немцы хотели убить всех евреев?

— Не все. Были те, которые нас спасали.

Вера не очень хорошо понимала, кто такие евреи. В классе были дети с самыми разными фамилиями и внешностью, били вне зависимости от этого и издевались тоже. Но когда через пару дней услышала, как Олька, главная хулиганка школы, отец которой недавно второй раз сел за грабеж, называет жидовским отродьем всеми презираемого за мелкое стукачество хлюпика и зануду Веньку Шалтупера, Вера подождала ее на перемене в туалете, прижала, невзирая на могучее сложение противницы, к стенке и, страшась самой себя, извергла все матерные слова, которые запомнила из Татьяниных и Розиных разговоров.

— Так ты тоже?.. Я не знала, — оправдывалась ошалевшая Олька, — прости, больше не буду.

И правда, отстала от Веньки.

О родителях она вспоминала каждую ночь. Чаще всего, как они втроем идут по подмосковному поселку, вечером, от их улицы Ленина к станции, чтобы отправиться на электричке на Красную площадь. Цветет черемуха. Перед станцией дорога идет в горку, Вера отстает, и отец сажает ее на плечи, и кисти черемухи касаются ее лица, она отмахивается и крепко держит отца за шею, он что-то громко рассказывает, и мама завороженно слушает и смотрит каким-то необыкновенным взглядом… В электричке душно и тесно, потом они идут в метро: фигуры взрослых и детей, обтекаемые толпой, все торопятся, как и они. И вот наконец Красная площадь: она снова на плечах у отца, как и все дети, и смотрит, как в небе один за другим вспыхивают и гаснут мерцая разноцветные букеты… По дороге назад в поселок она крепко спит на руках у отца. Сколько раз, заново переживая это, она грызла молча тощую подушку и хотела умереть. Однажды, когда тетя Таня ушла на ночное дежурство, решилась…

С подоконника ее сняла тетя Роза: взяла на руки, положила на койку. Откуда у нее такая сила?

— Твои родители всё видят, не надо их огорчать, — она гладила Веру по волосам, по мокрым щекам, — ты должна думать о том, чтобы они могли быть тобой довольны…

Она запела на непонятном языке, и Вера уснула.

Через несколько дней случился День Победы: в сквере на набережной цвела черемуха, и Вера вместе с тетей Таней, тетей Розой, соседями и еще целой толпой нагрянувших в квартиру знакомых пошла на Садовое кольцо. Движения по Садовому не было, из всех переулков в море людей на главной магистрали вливались новые ручейки и двигались по Метростроевской к центру, люди несли цветы, пели и плакали. Рядом с улицей Тимура Фрунзе громыхнула пушка салюта, потом — еще, с другой стороны, и вот уже всё небо в ослепительных лучах и искрах — им нет конца, и толпа людей тихо колышется, как будто море, и дышит, дышит… Тетя Таня и тетя Роза крепко держат Веру

за руки, у нее мурашки по спине, и каждый взрыв отзывается в висках и сердце…

После Дня Победы она заболела: не простудой, врачи нашли ревмокардит и положили в клинику на Пироговке, потом отправили в санаторий, где она провела почти год и узнала много интересного и страшного о жизни в советских интернатах. Дисциплина, воспитанная тетей Таней, а также расширенный, благодаря тете Розе, словарный запас помогли продержаться и добиться уважения в новой среде.

А через полтора года ее забрал в свою семью папин брат, капитан дальнего плавания, получивший квартиру в Москве на Юго-Западе.

В старших классах она чаще приезжала после уроков, сославшись на общественную работу, не к тете Тане, а к Розе, на Арбат.

С тетей Розой она могла поговорить, о чем с тетей Таней не решилась бы никогда: как предохраняться, что делать, если парень изменил с подругой или когда на комсомольском собрании требуют публично осудить невиновного. Тетя Роза слушала ее исповеди часами, качала головой, поила чаем, роняя иногда в заварку пепел, успокаивала:

— Оставайся всегда собой, это самое главное. Не бойся потерять. Самое страшное — потерять себя. Жизнь длинная.

Роза сгорбилась: все вечера печатала на машинке — дипломы и диссертации, а больше — слепые ксероксы. Вера прочитала «Мастера и Маргариту», «Чонкина», «Колымские рассказы». Складывала перепечатанное в дорожные сумки. В других сумках хранились продукты: крупа, конфеты россыпью, папиросы. Иногда к ней приходили люди, молча брали заготовленное, уносили. Как-то Вера пыталась предложить помощь, но Роза ее резко оборвала.

На первом курсе педагогического (обе, Таня и Роза, одобрили ее выбор) она познакомилась с Виктором. Виктор учился в полиграфическом, мечтал стать графиком,

рисовал с друзьями на Арбате, его задерживала милиция, Вера вступилась за него как раз в момент милицейского рейда и буквально вытащила из патрульной машины, имитировав семейную сцену.

И притащила сразу к Розе. Дома был сын тети Розы, конструктор из секретной лаборатории, они немедленно напились. И встречались потом почти каждую неделю. Потом Вера даже ревновала, что Виктор стремится к Розе слишком часто.

К другим друзьям и соратникам по демократическим сходкам, где он пропадал всё больше, особенно после того, как они расписались (Вера уже ходила с заметным животом), не ревновала почти совсем. Хотя нет, было несколько раз — она даже сцены устраивала, когда сын болел, а компания на кухне бурно обсуждала последние события. Напрасно, впрочем — всё повторялось снова и снова. Вера падала с ног от усталости, укачивая малыша, одновременно пытаясь сосредоточиться на материале к очередному зачету под привычные уже звуки ночных посиделок за стеной, но буквы расплывались, слёзы жгучей обиды лились по щекам. Виктор не понимал, почему она плачет, обнимал ее пылко, но снова убегал… В ответ на просьбы хотя бы пару дней побыть вместе, без посторонних, дома, отшучивался: «Одиночество вдвоем не для нас…»

Они прожили почти семь лет. Когда невестка недавно спросила, почему они развелись, Вера растерялась.

— Но вы ведь любили друг друга? — настаивала та.

Вера промолчала: хотела было рассказать, но передумала.

В канун 9 мая 1989 года Виктор погиб — разбился на машине. Они с друзьями торопились в Германию, на митинг против Берлинской стены. Бушевала перестройка, Виктор пропадал на митингах, рисовал плакаты гражданских акций, Вера пыталась найти детское питание для ма-

лыша, выбивалась из сил… На развод подала от обиды и одиночества, муж этого, кажется, даже не заметил…

Могли бы они жить вместе, останься он жив? Она так и не могла ответить сама себе.

Вера не заметила, как наступил полдень, время онлайн-семинара с китайцами. Могли ей дать других учеников? Индусов или хотя бы турок, их достаточно в образовательном центре. Или виной — ее участие в протестных письмах против обнуления Конституции, которые многие преподаватели так и не решились подписать, и администрация просила не ввязываться?

Через три часа, измочаленная, она присела выпить кофе и передохнуть.

Тетя Роза и тетя Таня, что бы вы сказали сегодня, посмотрев на нее?

Почему так мало с вами встречалась в последние годы? Да, тетя Таня не поняла перестройки: она осталась коммунисткой, ее моментом счастья была публикация предсмертного письма Бухарина в «Огоньке», она верила в социализм с человеческим лицом. И работа, которую Виктор послал на выставку к Дню Победы, ей не понравилась: Вера с Розой за столиком в сквере, бутылка и граненые стаканы, в духе Пикассо, «Любительницы абсента». Работу не взяли, посчитали клеветой на образ фронтовиков… Розе, кажется, понравилось…

Не первый раз за время изоляции она возвращалась мысленно к прожитым годам, пытаясь разглядеть что-то важное, ускользающее. Может быть, изоляция для того и была дана, чтобы остановиться и приглядеться к себе? Об этом они говорили с коллегами после очередных заседаний в непривычном электронном режиме.

Почему ее жизнь сложилась именно так? Почему не вышла замуж снова? Об этом спрашивали подруги. Она сама не знала. Не то чтобы ни с кем не хотела встречаться, или не было возможности, или сын был против — как раз

нет. Но что-то в последний момент не складывалось, и по ее вине. С одним из несостоявшихся мужей она до сих пор созванивалась едва ли не каждую неделю, почти дружила, а с его новой женой они ходили несколько лет на фитнес в один клуб.

— Ты продолжаешь его ждать, — сказала ей однажды гадалка, совсем давно.

Вера не поняла, отмахнулась. Кого еще? Она сама, сама всё для себя решила: организовала уютный дом, продала дачу и помогла семье сына с ипотекой, наладила круг знакомых и собственный покой… Но какая-то смутная мысль не отпускала все дни изоляции, и она застывала в кресле, с остывающей чашкой кофе, как будто вспоминая что-то важное, что никак не хотело вспоминаться.

Ближе к вечеру раздался звонок по городскому телефону, о существовании которого Вера успела уже подзабыть:

— Это Григорий. Сын Розы, помните? — и сказал, что хотел бы зайти, в Москве всего на два дня.

Вера поймала себя на том, что ничуть не удивилась. И вспомнила, что они не виделись тридцать четыре года. Григорий приезжал забрать тетю Розу домой из смоленского постпредства, где бурно праздновали День Победы и где были Вера с Виктором.

Он почти полностью поседел, но выглядел по-прежнему подтянутым, двигался стремительно, белозубая улыбка, совсем не на 73. Импозантный джентльмен. Европеец.

— Завтра День Победы, — и открыл коньяк.

— Я даже рада, что отменили официальные мероприятия, слишком противно, — сказала Вера. — Хорошо, что Роза не видит.

— Может быть, она и видит, — ответил Григорий. — А ты практически не изменилась. Такой же упрямый взгляд, и принципиальность…

— Но как ты сюда смог приехать? Ведь в Израиле карантин самый жесткий?

— Борьба с терроризмом не знает карантина.

Выпили.

— Всегда любил эклеры из кулинарии «Украины», у нас в Тель-Авиве так не научились.

Он снова наполнил рюмки.

— Ты знаешь, я его нашел. Своего отца.

— Кого? — не поняла Вера.

— Его звали Ганс Гиберт, лейтенант вермахта. Ему было 23 года. Мама сказала перед смертью, уже в Иерусалиме.

Молодой немецкий офицер встретил в оккупированном поселке под Смоленском Розу, у которой полицаи забрали брата. Брата отпустили, а в Розу он влюбился, поселил у себя на квартире, он был помощником коменданта поселка и потом несколько месяцев выдавал документы на разрешение покинуть поселок десяткам людей, в основном евреям. Когда по доносу в комендатуру направили проверку, он отправил Розу, уже на сносях, на телеге в соседнюю деревню, откуда она попала к партизанам. Роды были трудные — едва не умерла. Командир отряда сам принимал Гришу (был фельдшером) и написал, что ребенок его. Вскоре погиб. Новый командир отряда, быстро сделавший карьеру после войны, взял Розу с собой в Москву в качестве личного секретаря. Его жена ее ненавидела, подозревала, что Гриша от него, и в конце концов Роза ушла работать машинисткой-стенографисткой в министерство, до самой пенсии.

— Он был единственный сын у матери, она умерла еще до конца войны. Никого из родных не осталось. Похоронен на немецком кладбище в Смоленске: там полный порядок, власти следят, и родственники приезжают. Чище, чем наши братские могилы. Непросто было выяснить. Но ребята из немецких служб помогли. И наши израильтяне, конечно. Хотел узнать, как он погиб. Из-за мамы или иначе. Написано — при отступлении. И всё.

— Что ты чувствуешь?

— Не знаю. Моей дочери, кажется, всё равно. Она в кнессет собирается. Шансы высоки, между прочим. Жена на русском не говорит, она из Испании. Внучка в армии, в разведке. Как я? Нет, онлайн. Ловит хакеров. Снимается в феминистских клипах на ютьюбе. Посмотри, он достал телефон, нажал на кнопки: юная Роза, только с фиолетовыми волосами и в камуфляже, пела на иврите.

— Боже!

— Правда, похожа? Вот еще посмотри. (На фото прямо в объектив смотрел Григорий, такой, каким она его впервые увидела в подмосковном поселке. Только стрижка другая. И форма…)

— Послушай, так это…

— Перед отправкой на Восточный фронт. Хотел быть физиком, учился в университете в Лейпциге. Я видел записи экзаменов. Круглый отличник. Интересовался аэродинамикой, возможностями полетов в космос. Жаль, что у меня нет сына. Может быть, ему было бы интересно. У тебя есть дети?

— Сын и внук. Он химик, как мой отец. И жена тоже. Работают в немецкой фирме. Теперь все на удалёнке.

— Ты?

— Преподаю русский как иностранный китайцам. Скоро мы все будем говорить на русском как на иностранном, мне кажется. Может быть, так проще лишать всё смысла. И совести тоже. Я подарила дому ветеранов телевизор. Тошно слушать. Особенно про Победу. Можем повторить, и всё такое.

— Я много работал с заложниками. Коллеги даже удивлялись, почему мне удается. А мне иногда кажется, мы все — заложники.

— Чем дальше от войны, тем больше врут. Мультики показывают про звездные бомбардировщики, студенты думают, что всё это и есть кино, придумывают квесты про блокаду Ленинграда, в детсаду репетируют взятие Берлина… И некому уже им сказать… Все вооружаются, как в

моем детстве, когда мы на уроках разбирали автомат Калашникова и готовились к войне с Америкой…

— Слушай, как я мог забыть! — он совсем по-молодому вскочил, аккуратно вытащил из портфеля картонную старомодную папку. — Это тебе, держи. Аккуратней только.

В папке оказалась лишь одна страница, старая пацифистская листовка, в желтоватых пятнах, что-то против дедовщины и милитаризма, несовместимого с перестройкой.

Григорий жестом попросил перевернуть.

Татьяна и Роза, в сквере у гостиницы «Украина» за столиком, початая бутылка и два граненых стакана, и огромный куст цветущей черемухи. Рисунок черным фломастером.

— Виктор просил передать. Мы встретились на митинге, потом пошли в бутербродную — он собирался в ГДР, с художниками. Меня из-за этого митинга выгнали из лаборатории, оказалось — к счастью, иначе бы мы с мамой никогда не уехали. Но тогда я очень переживал. Виктор быстро нарисовал и просил тебе передать до его отъезда. Прости, что не успел.

— Послушай, так он, оказывается, про меня…

— Про Виктора узнал позже, но тут меня начали в органы таскать, и мама заболела, потом мы были в подаче… Но я помнил и даже увез с собой, верил, что передам. Да, он про тебя всё время думал. И думал, что вы снова сойдетесь, когда он вернется. Как хорошо, что ты оказалась дома. Ну, я пойду. Нет, сначала на посошок. Неизвестно, когда снова увидимся. Виктор знал, что ты его любишь.

Веру душили слезы…

— Не чокаясь.

Она кивнула, пытаясь что-то сказать.

— Мне несколько раз было очень плохо. И тогда я разговаривал с мамой — она приходила ко мне. И спасала. Даже когда это было невозможно. Я не верю в бога, ни в какого, я по воспитанию физик и атеист. Но я знаю, что на-

ши самые любимые видят нас. И пока так, смерти нет. Я так думаю. Ты знаешь, я болен, давно. Врачи не пускали в Москву, особенно сейчас, эпидемия. Но я должен был тебя повидать.

Зазвонил мобильник, неожиданно, громко. Невестка с сыном сообщили, что у них антитела, и у внука тоже — оказалось, переболели еще зимой, а они и не знали, думали, что грипп, и они завтра готовы наконец к ней приехать и вместе отметить День Победы.

Григорий засобирался, достал из портфеля респиратор, перчатки.

— Ну, будь.

— Всё будет хорошо! Приезжай! Ты непременно поправишься, и мы вместе…

— Да, непременно.

Он быстро обнял ее и ушел.

Вера вернулась к столу не в силах оторваться от рисунка. Не заметила, как наступил вечер, как пищал переполненный сообщениями телефон.

Поздно вечером по городскому позвонил встревоженный сын, не понимающий, почему она не отвечает на сообщения, и еще больше взволновался, услышав, что Вера получила старое письмо от давно погибшего отца, которого он едва помнил.

— С тобой всё в порядке?

— В полном, — спокойно ответила Вера. — Я узнала, что он меня всегда любил.

— Слушай, ты устала от своих китайцев, я попрошу своих немцев тебе новое снотворное достать, у них многие на него перешли в эпидемию.

В эту ночь она впервые с начала эпидемии заснула легко и спокойно. Ей снилось, как они идут с родителями с улицы Ленина, к Вокзальной, она на плечах отца, и ветки черемухи касаются лица.

МИША ГРИНИН

«Красный… Оранжевый… Желтый… Наконец, ты вся в солнечном свете, вся, волосы, ногти, кожа, селезенка, почки, трахеи, — ты светишься солнцем, ты в покое, ты в гармонии с миром… И эллипс, фиолетовый эллипс, тонкий и непроницаемый, ты внутри, он хранит твой солнечный свет, он защищает тебя от космических излучений и агрессии, никто не может поколебать твоего спокойствия, никогда… Ты справишься со всем… Примешь правильные решения. Ты всё сможешь…»

Ника повторяла мысленно заклинания Лены, подруги детства и цветотерапевта автоматически, в ушах звучал ровный Ленкин голос, ее интонации, и привычное тепло начинало разливаться по капиллярам. Это упражнение она делала регулярно, иногда несколько раз на дню, веря в его спасительность, как в таблетку амигренина, десять минут — и ты в форме. Сколько раз оно выручало — и когда партнеры нарушали обещания, и когда на совете директоров ее неожиданно хотели уволить, и когда обрушился доллар и ее компания практически разорилась, и когда из-за санкций снова едва не пришлось закрыть бизнес. Спокойствие и умение держать удар, отрешенность от эмоций и способность выбрать правильную стратегию — результат психологического тренинга, контроля над нервными окончаниями. Ленка — гений, она умела, как никто, настроить на нужную волну, незаметно подвести к единственно верному выводу, придать уверенности. Сколько достойных коллег пали жертвами собственной торопливости и невроза, разрушили свое дело, свои семьи, здоровье. Сколько выскочек ушли в финансовое небытие. Всё — из-за высокомерного невнимания к простым вещам, к контролю за собственными проявлениями, из-за презрения к

незаметному, но незаменимому труду терапевтов… Судьба уберегла Нику, случайно на вернисаже народного творчества, куда и идти-то не собиралась, столкнув снова с давней подругой, которую потеряла из виду еще в школе, переехав в другой район. И Ленку не узнала, конечно, столько лет прошло! Но та сама к ней подошла. И с тех пор они вот уже несколько лет встречаются регулярно, и все новые веяния в терапии, все наработки мировой психологической науки, которые Ленка фанатично осваивала, срываясь на дорогостоящие семинары во всех краях света, были опробованы и взяты на вооружение. Виват, Лена Проскурина! Ника не оставалась в долгу, рекомендовала подругу близким знакомым и лучшим партнерам, и круг Ленкиных клиентов стабильно пополнялся за счет их родственников, бывших и нынешних, приятелей и сотрудников. Как вообще раньше жили без терапевтов? Особенно в советское время, когда практика бесед со священниками не существовала?

Ника аккуратно закрыла за собой дверь медицинского центра. Прямо под ноги ей упал желтый кленовый лист. Она глубоко вдохнула сентябрьский воздух. Осень! И вдруг решила не вызывать машину, а пройтись дворами до Кутузовского.

«Лиловый эллипс защищает тебя, как вера защищает ковчег Завета, как яйцо — иглу, она же душа Кащея, невидимая другим лиловая скорлупа крепкая, как обшивка космического корабля, лиловый цвет — врата кармы мудрости и вечности, тебе всё будет фиолетово, ты тотально, навечно защищена, никто не сможет поколебать твоего спокойствия…»

Ника свернула вглубь двора, очертания пятиэтажек показались ей смутно знакомыми, но непонятно, что именно напоминали, бог с ними, и она бодро зашагала по асфальту, усыпанному разноцветными листьями.

И вдруг остановилась, почти задохнувшись от ужаса. В висках стучало. «У меня никогда не будет дочки», — прошептала она.

Медицинский центр у метро Студенческая порекомендовал знакомый Вадима, завотделением с Каширки: «Тут вас разденут до нитки, а там — классные врачи, проверенные, клиника не раскрученная, но надежная». И дал телефон директора. Эскулапы и правда произвели самое приятное впечатление, не стремились немедленно выкачать десятки тысяч на анализы, не морочили голову и были предельно конкретны, что Нике понравилось сразу. Немолодая женщина, проводившая скрининг и гистероскопию, уверенная и спокойная, вызывала немедленное доверие. Они пошутили вместе, вместе обсудили последние телепрограммы, и вместе сошлись на их никчемности, не забыли и про пищевые добавки и средства для коррекции фигуры и так же сошлись во мнении о нелепости маркетинговых ходов и бессмысленности усилий обмануть физиологию. Они понравились друг другу. Ника подумала, что с таким партнером чувствовала бы себя комфортно в любой ситуации. Она принесла в конверте больше, чем было договорено, и больше, чем значилось в уже оплаченном кассовом чеке, и доктор приняла это с понимающим достоинством и без лишних слов. И это тоже понравилось. Ника ей верила. И сегодняшним словам о том, что тотальная операция неизбежна, верила. Как и тому, что в целом прогноз положительный. Главное — не пропустить время. Хорошо, что медицина осваивает новые горизонты и озабочена не только спасением жизни, но и сохранением ее качества. И тысячи женщин во всём мире пережили это и продолжают получать удовольствие. И она таких знает. В конце концов, в ее возрасте лишиться органа, утратившего актуальность, не такая большая проблема.

«У меня никогда не будет дочки», — уже вслух повторила она и почувствовала леденящую тяжесть в средостении.

«Наверное, так бывает, когда говорят — у тебя на сердце камень», — подумала она.

Встряхнулась, нащупала точку в середине ладони, помассировала — это всегда помогало — и вытащила из сумочки телефон.

Номер Вадима был недоступен. «Странно, — подумала она, — он как раз должен быть на групповой тренировке, когда вполне можно ответить». Пожала плечами, набрала Леру. Номер помощницы также был отключен.

Ника почувствовала во рту металлический привкус, как бывало перед началом мигрени.

«Ты не должна нервничать. Это просто совпадение. Не впадай в паранойю». Вкус не пропадал. Она порылась в косметичке. Амигренин остался на работе.

Уже несколько раз она не могла одновременно дозвониться мужу и Лере. Она гнала от себя подозрения, старалась их высмеивать, вспоминала комичных мнительных дур — жен партнеров, в основном домохозяек. Стыдила себя, представляла, как Ленка велела, лицо Вадима, которому она истерически выкрикивает свои болезненные обвинения. Месяца два назад даже устроила специальную сессию с Ленкой. Та была в своем репертуаре, железобетонно невозмутима.

— У тебя есть факты или только твои фантазии? Он живет дома? — деловито спрашивала Ленка, разминая сигарету.

— Да, живет. И очень хорошо за ним следит, у меня времени не хватает. И за дачей. И даже за квартирой в Черногории, контролирует соседа, который за ней присматривает.

— У вас стало хуже с сексом? Ты что-то замечаешь?

— Нет, как обычно. Он устает чаще, чем семь лет назад, но это давно. Мы хорошо друг друга знаем, я бы почувствовала, если что-то не так.

— Он может у тебя отсудить квартиру или дачу?

— Нет, мы с самого начала решили, что составим брачный контракт, и в случае развода каждый останется при своем.

— Значит, ему и уйти некуда.

— Ты хочешь сказать, он со мной остается из-за денег? — возмутилась Ника. — У него, кстати, есть квартира, однокомнатная, он ее сдает, выручку тратит на свои спортивные мелочи. Кстати, я даже проверила, попросила знакомого мента — он действительно ее сдает каким-то кавказцам и приезжает только за деньгами.

— Значит, ты просто выдумываешь несуществующую проблему. Тебе мало проблем? У тебя прекрасный заботливый муж, которого ты интересуешь как женщина, сохранивший здоровье, чем не каждый к его возрасту может похвастаться, и тебя, кстати, приобщает к спорту. Не делай из мухи слона.

— Но если он увлекся?

— Ты сама говоришь, что почувствовала бы. Не придумывай себе трудностей. Радуйся жизни. Пригласи его куда-нибудь отдыхать, где есть корты, воздух, приятная компания. Ты сама давно не отдыхала.

Ленка права. Она несправедлива. Вадим ее не обманывает. Он очень внимательный. Когда она начала искать врача, он сам нашел через кого-то из своих учеников супер-доктора-гинеколога-онколога, ученика легендарного профессора Жордании, основателя школы, который погиб, отдав во время крушения самолета свой парашют молодой женщине. На всех парашютов не хватало. Он и посоветовал клинику около Студенческой. Не нужно быть несправедливой. Это просто невроз. Или таблетки, которые она глотала пачками последние месяцы. Искусственный климакс, потом еще один, глаза вылезают из орбит, бросает то в жар, то в холод, вдруг неожиданно обливаешься потом посреди совещания, и никто не понимает, что с тобой. И как только кончается мучительный курс, изматывающие кровотечения снова… Вадим терпел ее нервозность, не срывался, старался сделать ей приятное, возил в Тарусу, в Плёс, покупал ее любимую пахлаву, которую она не ела, кажется, со времени их знакомства, чтобы не портить фигуру…

Они познакомились в круизе по Средиземному морю. Ника удрала от очередного неудачного романа, от пьющих подружек, от предательства коллег по бизнесу, от ссор с матерью и вечной неустроенности, сын как раз уехал на стажировку в Лондон, и кто-то из партнеров, не расплатившись за рекламу, как обещал, предложил вместо денег бартер — путевку в круиз на две недели. Большинство сослуживцев отказались — старый пароход, переделанный наспех из военного, ненавязчивый сервис, и вообще корабль зафрахтовала какая-то общественная организация для проведения своих семинаров. Но ей было всё равно. Она с радостью просыпалась в тесной каюте на нижней палубе над трюмом, наблюдала за изменением цвета воды, сидя в шезлонге, с удовольствием ела незатейливою еду шведского стола общего пользования, не поднимаясь в ресторан, и увлеченно посещала все экскурсии, на которые многие посетители ресторана жалели сотню долларов. Дворцы турецких султанов, музеи Ватикана, где экскурсию неожиданно вела внучка академика Фридлянда, Парфенон, развалины Помпеи, ночной Неаполь… Ника с восторгом внимала словам экскурсоводов, живо обсуждала со случайными спутниками детали ушедших эпох, счастливо взлетала по древним ступеням, как будто сбрасывая годы. В домике семьи Наполеона на Корсике она отстала от группы, остановившись у старинного зеркала, пристально всматриваясь в свое отражение.

— Так же смотрела Жозефина Богарне, — услышала она за спиной.

Высокий молодой загорелый мужчина в тенниске отразился в зеркале.

— Но она же здесь никогда на была, — отозвалась Ника.

— Но могла бы. Она была рядом с Наполеоном, а значит, и здесь. Она всегда была с ним.

— Она была старше, — почему-то сказала Ника.

— Всего на несколько лет. Тогда это имело значение. Но она подсказала ему, как жить. И он стал Наполеоном. — Он улыбнулся: — У вас та же повадка.

— Разве? — она развеселилась

— Конечно. Вы сами этого не знаете. Таким, как Жозефина, дарят половину мира.

— А вы что можете подарить? — неожиданно для самой себя спросила она.

Незнакомец засмеялся.

— Мир тенниса. К сожалению, тут нет корта. Но я с удовольствием приглашу вас в свою школу в Москве.

— Я никогда не играла.

— У вас точный глазомер и хорошая координация движений. Наверное, вы занимались спортом. Стоит попробовать. Меня зовут Вадим. А вас?

Вадим окончил МАИ, но научная карьера не сложилась, зато юношеское увлечение теннисом помогло, он стал тренером в частной детской спортивной школе. Оказалось, они жили почти по соседству в детстве, ходили на одни и те же спектакли и выставки, слушали одни и те же пластинки, им не надо было многое объяснять друг другу из того, что дорого или смешно. После возвращения Вадим почти сразу переехал к ней и вовсю занялся ее спортивным воспитанием. Ника тренировалась истово, довольно быстро освоила азы теннисного искусства. Он был терпеливым и внимательным тренером и внимательным и умелым любовником. Она изменилась внешне, сбросила совершенно незаметно десять килограммов и обрела ту внутреннюю уверенность и подтянутость, которые отличают успешных женщин. Они хорошо играли в паре, и с ними любили играть родители учеников. Отец одного из них, крупный предприниматель, неожиданно предложил средства для открытия новой компании. Ника без сожаления простилась с прежней работой и открыла фирму «Вероника». Презентацию новой рекламной службы осветила пара телеканалов. Опыт и деловые качества Ники, а также уже наработанные контакты помогли быстро занять необходимую нишу. Первая серьезная сделка была с компанией «Прада», открывшей несколько новых бутиков в России. С тех пор Ника покупала одежду и аксессуары только у этой

фирмы. Это стало ее стилем. Когда вышел известный фильм с Мерил Стрип, «Вероника» устроила благотворительный концерт с участием «Виртуозов Москвы» и отправила актрисе приветственный адрес. Об этом, согласно договорам, сообщили пять центральных СМИ и три иностранных. Ника вырвалась на новую орбиту.

На свадьбу (скромную, но стильную, под стать всему, что делала теперь Ника) приехал Никин сын, к тому времени уже ставший партнером в британской адвокатской фирме, ориентированной на содействие российским бизнесменам и их семьям, и сын Вадима, курсант академии ФСБ. Мама Ники, крайне скептически относившаяся к первому мужу и последующим кавалерам дочери, души не чаяла в новом зяте. То, что он был на пять лет моложе, знали только самые близкие — теперь Ника, закованная в «Прада», знала все последние новинки чудодейственной безоперационной косметологии, ее лицо и тело обрели законченность международного стандарта бизнес-леди, безупречно стильной, привлекательной и вечно молодой, почти бессмертной…

Их брак не тускнел и не омрачался бытовыми ссорами, их страсть не остыла: приобретя размеренность и сбавив темп, они по-прежнему пылко стремились друг к другу, когда позволяло время. И финансовые возможности, которые неуклонно росли, позволяли придумывать всё новые необычные совместные приключения — поездку в Анды, путешествие верхом по границам Монголии, круиз в Антарктиду… Все семь лет, которые провели вместе, Вадим был безупречен, поддерживал ее новации, радовался успехам, по поводу которых организовывал импровизированные маленькие торжества, общался с клиентами и партнерами на раутах, некоторые из них определяли детей в школу тенниса, которую Вадим выкупил и успешно развивал уже самостоятельно. У каждого из них было свое дело, и было взаимопонимание и радость глубокой близости. Как-то, кажется, через год после свадьбы, на итальянском курорте, обнимая ее, Вадим спросил: «Может быть,

мы родим дочку?» Ника не помнила, что ответила, кажется, сказала, что надо подумать, хотя ей уже сорок три. Он как-то еще вспоминал, и она помнила, что вдруг взволновалась, даже начала выяснять возможности в институте гинекологии. Но потом начались проблемы с бизнесом, что-то еще…

Ника снова достала телефон, потом снова положила его в сумку. Она ступала по заляпанному листьями асфальту машинально, не выбирая дороги, левее и левее, пока не уткнулась в зеленую школьную ограду. Насквозь прохода не было, калитка после окончания уроков, как и повсюду в школьных дворах, запиралась на замок, надо было возвращаться на Студенческую улицу. Она ухватилась двумя руками за решетку, прижалась лбом. Чисто выметенная территория, пара кустов боярышника с алеющими ягодами, спортивная площадка, два пятиэтажных здания, поновее и постарше… И вдруг поняла — это ее школа.

Конечно же, именно она, как можно было забыть? Ника с усилием сообразила, сколько лет здесь не была. Ровно тридцать. Ничего не изменилось, те же здания, только новые спортивные снаряды, аккуратные кустарники, которых, кажется, не было, даже дорожка к калитке такая же. Она осторожно пошла вдоль забора, вышла на улицу, решительно пересекла ее и свернула во двор дома напротив. Двор тоже не изменился. Даже лавочка под раскидистой липой (сколько же ей лет?) — та же. Лавочка, на которой собирались украдкой после уроков и тайно курили старшеклассницы, обменивались косметикой, делились секретами… Она устремилась к ней и увидела девочку лет шестнадцати, в джинсах и коротенькой курточке. Девочка стояла в стороне, под другой липой, и пыталась закурить.

Нике вдруг смертельно захотелось сигарету. Она не курила уже много лет, забыла вкус сигарет, не терпела табачного дыма. Сейчас желание затянуться было почти нестерпимым. Она порылась в сумочке — зажигалка «Прада» всегда была с собой как талисман, она когда-то помогла

получить фантастически успешный контракт, с тех пор Ника с ней не расставалась.

— Тебе помочь? — спросила она.

Девочка обернулась. Длинная каштановая челка, зеленая прядь, пирсинг в носу, заплаканные глаза, с ресниц потекла тушь.

— Держи, — она протянула зажигалку.

Девочка взяла, секунду рассматривала, прикурила, протянула обратно.

— Спасибо. Прикольная вещь.

— Возьми себе, — удивляясь сама себе, сказала Ника. — Может быть, у тебя есть еще сигарета?

— Конечно, — засуетилась девочка, достала пачку «Кента», — пожалуйста.

— Ты здесь учишься?

— Да, в десятом «В».

— Я тоже здесь училась. Только в десятом «Е». Это был гуманитарный класс. Сейчас в школе есть специализация? У нас были три математических класса, два химико-биологических и один гуманитарный.

— Сейчас гимназия.

— То есть все учатся одинаково?

С непривычки у Ники закружилась голова, она присела на лавочку.

— Мы на этом месте собирались с подружками и курили после уроков, чтобы никто не видел. Тогда на углу у метро был киоск, продавали болгарские сигареты «Фемина», мы посылали за ними Соню Тихонову, она снимала школьный фартук, у нее был самый большой бюст, как у взрослой, и ей продавали.

— Прикольно, — сказала девочка.

— А у вас формы нет? — Ника оглядела девочку — джинсы, хлопковая сумка, кеды.

— Не-а.

— А есть ли театр?

— Кажется, нет, — пожала плечами она.

— А у нас был театр. Великолепный театр, один из лучших в городе тогда. И я играла. (Она вдруг вспомнила отчетливо актовый зал и подготовку к репетиции.) Играла в спектакле про Пушкина аристократку Осипову. А Пушкина играл Гиви Цурия, отлично играл, он потом стал заслуженным учителем, о нём даже сняли фильм. А тогда был хулиганом, состоял на учете в детской комнате милиции. Пушкин всё изменил, оказывается... Я видела фильм о нём в Нью-Йорке, на фестивале русского документального кино.

— Готично, — выдохнула дым девочка.

— И еще был спектакль, по Михаилу Светлову, о гражданской войне, о молодости и любви. И мы все ходили в библиотеку имени Светлова читать его тексты... — Нике вдруг захотелось вспомнить всё подробно, восстановить вспыхнувшие осколки давно пережитого. — Но самый лучший спектакль был до того, как я в эту школу попала. Он назывался «Миша Гринин». Про реального мальчика, который покончил с собой из-за несчастной любви.

— Ну, так это совсем просто. Главное — решить как.

— Миша Гринин любил девочку из параллельного класса, тоже из нашей школы. А она его — нет. И он писал стихи. Я раньше хорошо помнила. «Дорогая, о поверь, как обидно временами, видеть запертую дверь, словно пропасть между нами»... Его не печатали, конечно, но вот после его смерти руководительница театра решила сделать спектакль, о его любви и его стихах. После премьеры театр чуть не закрыли, приезжала комиссия из роно, директора таскали по инстанциям, но помогли родители кого-то из артистов, отбили. Но потом уже не ставили.

— Отстой, — девочка наступила на окурок, вытащила новую сигарету.

— Но мы, пришедшие после, знали эту пьесу и мечтали ее поставить. И стихи переписывали в тетрадки. Послушай: «Я ведь счастье испытал, даже вспомнить невозможно, прежде чем тебя позвал, на минутку, если можно. Сколько раз считал все «но», верил, ждал, робел, смеялся, как спешил и как боялся... Прости, я не помню строчку...

Там были такие слова: «За улыбку полонез, — я ведь в музыке невежда, за порыв счастливых грез в миг отчаянной надежды»… А дальше — последние: «В миг, когда глаза блеснут, я опять во что-то верю, и за несколько минут у твоей закрытой двери».

— Класс! — девочка смотрела на нее широко раскрытыми глазами, только теперь Ника заметила, что они разного цвета — один серый, дугой карий.

— Нравится?

— Прикольно. А как он умер?

— Не знаю. Не помню. Мы тогда бредили театром, и я была влюблена в мальчика Федю Стахова. Они жили с братом в соседнем с нашим доме, на Большой Дорогомиловской. Братья Сева и Федя. Федя учился в физмат-классе. Я любила его так, что была готова жизнь отдать за него… И моя лучшая подруга Оля…

— Жесть, — отозвалась девочка. — Правильно.

Но Ника не слышала.

— Мы вместе играли в театре. Ее отец был известный артист, играл в «Малом театре» в «Судьбе человека», мама работала на Мосфильме, отец был очень нервный, но гениальный. Ольга играла старуху-чухонку в пьесе по Светлову, а я романтическую героиню, у меня была подходящая внешность. Федя играл главного героя, но на меня не обращал внимания, и я готова была умереть…

— А вы пробовали? — вдруг с интересом просила девочка.

— Оля тоже была в него влюблена. Она как-то звонила мне по телефону, но у меня дома долго разговаривали родители, потом соседи, у нас был спаренный номер…

— Как это? А мобильник? Айпад? Или у вас не было гаджетов? — удивилась девочка

— Что? Гаджетов? Конечно, не было. Ни гаджетов, ни компьютеров, ни даже пейджеров, это всё появилось потом. Телефоны дома стояли не у всех, и во многих квартирах были спаренные номера, то есть один на две квартиры. Даже в этом районе. Не говоря уже о коммуналках.

— И «Телеграма» не было? И «ВКонтакте»? — не поверила она.

— Какие сети! Это была другая эпоха! Тебе родители не рассказывали?

— А откуда вы знали, как лучше умирать?

— Что? — Ника поперхнулась.

— Важно правильно решить, что делать. Передоз или повеситься, или с крыши, как все советуют. Откуда вы узнавали, как надо умереть?

— А тебе зачем? — удивилась Ника.

— Мне кажется, повеситься всё же лучше. Чтобы нагляднее. Прикольно!

— Глупость, — вдруг оживилась Ника.— Во-первых, можно сорваться. Потом, некрасиво. Вываливается язык, моча течет, вонь. Отвратно!

— С крыши мне не нравится, хотя все пишут. Может, всё же лучше с крыши?

— Чушь, — всё больше воодушевлялась Ника. — Можно не насмерть. Зато останешься инвалидом на всю жизнь. У моей знакомой дочь прыгнула с десятого этажа, ее лечат десять лет во всех клиниках мира. Врагу не поделаешь. И мозг отшибло.

— То есть овощ?

— Толку никакого. А тебе вообще это к чему?

— Меня подруга предала. Вместе с моим парнем, то есть я думала, что он мой парень, а они надо мной посмеялись «ВКонтакте». Фотки мои выложили, где я невменько. Я их должна проучить.

— И всего-то? — удивилась Ника.

— Я думала, он мой парень. Мы полгода чатились. Я ему верила. И подруге верила. Я их обоих ненавижу.

— Мы резали руки, бритвой. Потом прикладывали руку к руке, чтобы кровь смешалась. В знак дружбы. Как сёстры по крови. Ольга резала руки иногда сама. Она звонила мне, когда я не могла взять трубку, сказать, что хочет посерьезному перерезать вены. А я не могла взять трубку, занято. И она решила ждать. И позвонила поздно ночью,

родители на спектакле были, а мои все спали. Сказала, что не хотела резать, пока мне не скажет.

— Почему?

— Мы были лучшие подруги. Но она передумала. Потом она с Федей встречалась и даже сняла его в фильме, потом родила ребенка, который умер. Я после узнала.

— Он был красивый?

— Очень. Похож на актера Олега Видова. Ты не знаешь, наверное. Он стал бандитом потом, его убили. А Оля умерла от панкреатита. Я узнала из газет, через год, когда умер ее отец. Я всё откладывала ей позвонить, много лет. Очень хотела. Мы так и не успели поговорить.

— Моя лучшая подруга меня предала. Мне незачем жить.

— Есть у тебя еще сигарета, — попросила Ника. — И прикурить. Это, между прочим, «Прада». Фильм видела?

— Держите. Предки что-то говорили. Предки — отстой.

— У меня никогда не будет дочки. Я не думала, что это так плохо.

— Зачем вам дочка? — девочка присела рядом. — Вы прикольная, не старая совсем. Клёвая, короче.

— Мне кажется, мне изменяет муж. С моей помощницей.

— Сволочь, — девочка притоптала второй окурок. — Мстить.

— Муж хороший. И помощница хорошая. Но мне кажется, и это меня разрушает, — призналась Ника. — И у меня не будет дочки. Я только сейчас поняла. Никогда. Мой сын взрослый, он далеко. У него всё хорошо. И вообще всё хорошо. Но не будет дочки.

— Надо убить. За измену надо мстить, — убежденно сказала девочка.

— Как тебя зовут?

— Джил.

— Что это за имя?

— Это ник. Я Джил в Сети. Это я. И я решила умереть. Я написала об этом утром. Я не могу этого не сделать. И сегодня весь день думаю как. Мне не нравится то, что предлагают. Я хочу как-то по-настоящему.

— Как тебя зовут на самом деле?

— Настя. Предки назвали. Жесть. Предки отстойные.

— Ты их не любишь? Они, наверное, будут переживать.

— И пусть! Пусть урок пойдет впрок! Надоели! — почти прокричала она. — Пусть помучаются! И Шейла, моя бывшая подруга, и предатель Дик, все они пусть помучаются!

— Настя, красивое имя. Анастасия. Знаешь артистку Анастасию Вертинскую?

— Это которая голая на шпагат садится, я видела в Сети?

— Она играла Ассоль в «Алых парусах» по Александру Грину. Самая красивая актриса советского кино. И тебя зовут так же. Значит, ты тоже будешь красивая. И к тебе примчится корабль с волшебными парусами. Тебе же интересно посмотреть, как это случится?

Настя молчала.

Начал накрапывать дождь, Ника, поежившись, подвинулась на скамейке поближе к пышной кроне.

— На кой они тебе все? Зачем тратить на жалких людей свои силы и свою жизнь? Представь себе, что ты летишь по небу и видишь их с высоты птичьего полета, маленьких и несчастных… Тебе приходило в голову, что твои родители несчастные люди? Представь, как они мучились в детстве…

— Они сами всех мучают! — закричала Настя.— И мучили всегда! Лицемеры, гнобители! Мразь! Ненавижу!

— Представь себя на секунду птицей, которая парит под небом и видит всё и всех, и твоего Дика, и твою Шейлу, и твоих родителей, и учителей, и всех-всех…

— И вашего мужа с предательницей помощницей тоже? Она молодая?

— Моложе меня на двадцать лет. И старше тебя на десять. Ты можешь себя представить себя через десять лет?

— Нет, я буду старая и противная. Простите, — вдруг смутилась Настя. — А вас как зовут?

— Вероника. Вероника Михайловна, если хочешь. Так вот, моя подруга встретилась с Федей, когда я лежала с ветрянкой — долго лежала и не могла играть в театре, вообще в школу не ходила, — и переспала с ним. И не сказала мне. И я об этом узнала только через несколько лет, когда уже родила сына. И я ее простила. И до сих по жалею, что не успела ей об этом сказать.

— Предательство?! — Ника вскочила со скамейки.

— Она умерла и об этом не узнала. Она переживала, я знаю. И я не могу себе этого простить. И только та птица, которая летит над землей, понимает, как горько не узнать, что тебя простили.

Дождь пошел всерьез, разреженные листопадом кроны не спасали, у Ники промок пиджак, она сдувала капли с губ, но продолжала сидеть на промокающей лавочке.

— Да ну их, — проворчала Настя. — Не буду я это всё из-за них заморачивать… Пойду мороженое лучше куплю, — и почти побежала прочь.

Ника посидела еще несколько минут, поднялась и вышла из дворика.

— Вероника Михайловна, — услышала она, — зажигалку возьмите!

Настя — мокрая зеленая челка, изменившая цвет от воды курточка со смешными стразами — устремилась ей навстречу с зажигалкой в руке. Ника замахала руками.

— Это тебе на счастье!

Запыхавшаяся девочка остановилась и выдохнула:

— Вы знаете, вы — птица! — и убежала прочь.

Ника шла по улице Дунаевского, не обращая внимания на дождь, на промокшие туфли, на звенящий телефон в фирменной сумке, на испорченный макияж и затекающие за шиворот струйки, и улыбалась.

Она видела добрую птицу с сиреневыми крыльями, летящую над осенней Москвой.

ДЕВОЧКА С ПТИЦАМИ

Памяти Александра Ткаченко

Новую встречу клиент опять назначил в кафе «Босфор» на Арбате. Марина не любила это кафе с медлительными азербайджанцами-официантами и тучными постоянными посетителями, его антураж, отсутствие стоянок поблизости. Но Брыщенко назначал обсуждение своего развода непременно здесь, уже который раз, в одно и то же время. Видимо, у него поблизости были дела. Или у новой невесты. Невесту он ей показал на фотографии — средних лет, мягкие приятные черты, неброская одежда, таких много. Преподаватель в музыкальной школе, воспитывает сына-старшеклассника. Трудно понять, почему довольно успешный бизнесмен решил уйти от жены — однокурсницы, матери двоих детей, с которой прожил двадцать два года. Среди клиентов агентства большинство испытывали кризис среднего возраста, новые семейные узы казались продлением молодости, открытием новых перспектив. Многие старались организовать болезненный процесс развода и раздела детей и имущества как можно менее травматично, назначали высокие алименты, оставляли квартиры и коттеджи, доли в бизнесе и счета, как будто извиняясь за свою слабость. Женщины в том числе.

Несколько клиенток Марина запомнила особенно хорошо. Одна, менеджер консалтингового агентства, готова была отдать бывшему мужу последнее, чтобы только никогда его больше не видеть, что очевидно не нравилось новому молодому жениху. Марина с большим трудом добилась, чтобы имущество поделили справедливо. Другая, бывшая чемпионка по биатлону, владелица стрелкового клуба, горела жаждой реванша, требовала лишить невер-

ного супруга не только квартиры и машины, но и работы тренера — при помощи знакомых следователей почти подвела его под суд якобы за домогательства к ученицам и требовала запрета на профессию. А бывшая артистка цирка, известная конезаводчица, постоянно плакала — то от жалости к брошенному, бывшему партнеру по арене, то от любви к новому возлюбленному, бывшему жениху дочери, то от чувства вины перед дочерью, которая, впрочем, пока шел развод, быстро вышла замуж за китайца и укатила в Шанхай.

Брыщенко был другой. Коренастый, крепкий, с короткими пальцами и тихим голосом, он настаивал на детальном разделе всего совместно нажитого, включая столовые приборы и привезенные из туристических поездок сувениры. Монотонно, без выражения перечислял предметы раздела, обстоятельства, при которых они были приобретены. Наиболее спорным вопросом было содержание детей: старшего — студента в Лондонском колледже, и младшего — с аутизмом, который посещал специальную школу. Марину поражало, с какой истовостью он настаивал на сокращении его доли в этих тратах и увеличении доли матери, которая формально владела небольшим салоном красоты. Каждый раз Брыщенко приносил новые документы, подтверждающие реальные, отличные от заявленных в отчетах, доходы от салона, а также информацию о тратах жены — на дорогие аксессуары, встречи с подругами в ресторане, антикварные лампы и прочее. Именно они должны были подтвердить его правоту. Он не скрывал, что нанял частного детектива и аудитора, чтобы всё это выяснить.

Судя по всему, жена Брыщенко не изменяла, в бизнес сама не вникала, поручив всё директору салона, бывшей подруге, и транжирила в рамках допустимого для ее круга. Воспитанием проблемного сына занималась самоотверженно, возила в летние лагеря, нашла музыкальную группу подростков-аутистов и даже ее спонсировала частично, организовала выступления в Праге… Почему он хотел ее

последовательно ограничить и даже унизить, Марина не понимала. Как и того, почему вдруг он решил довольно срочно развестись и жениться на другой, не принадлежащей к его кругу. Возможно, он хотел благодарности? Почитания? Женщина на фотографии не выглядела забитой или робкой. И на жертву не походила — видно было, что хлебнула лиха и умеет постоять за себя.

Как всегда перед поездкой в «Босфор», Марина испытала легкое раздражение. Отдала необходимые распоряжения молодым сотрудникам и секретарше, еще раз пролистала давно подготовленные документы, подправила перед зеркалом безукоризненно уложенную прическу.

Вздрогнула от неожиданного звонка:

— Дорогая, ты не звонишь, наверное, дела. Ты помнишь, мы сегодня идем на день рождения к моему шефу? — голос Вадима звучал совсем по-мальчишески. — В полседьмого на Чистых прудах!

— Конечно, дорогой. Прости, заработалась.

Она забыла совсем, такого давно не было. Наверное, слишком долго вчера сидела с бумагами, за полночь, хотя давно запретила себе такое. Надо раньше ложиться.

Раздражение нарастало, Марина размяла пальцами затылочные кости, сделала два глубоких вдоха и выдоха. Обычно помогало. Что есть досада, хандра и даже депрессия? Сбой в движении жидкости и питательных веществ по клеткам, нарушенный метаболизм. Она хорошо помнила курсы, которые разработала знакомая, диетолог и психолог, и рекомендовала их коллегам. Восстановление баланса химических веществ — основа физического и психического благополучия, надо только иметь настрой и немного воли. Не так сложно, как кажется. Распорядок дня, питание, витамины, немного физической нагрузки. Спать раньше 23. Непременно косметолог и стилист.

Проверено на личном опыте. Беспроигрышный вариант. Все проблемы решатся без мук, и удача будет сопутствовать регулярно. Так она говорила сотрудницам Соне и Вике, с которыми старалась поделиться не только про-

фессиональным опытом, но и философией, которую обрела за долгие годы проб и ошибок.

Вика напоминала ей дочь Настю, которая давно уехала с мужем в Нидерланды, такая же сосредоточенная, перфекционистка, замкнутая. А Соня — она вся в мечтах, влюбленности, классическая чеховская провинциалка… Из Майкопа, жила у тетки в Москве, собирала на ипотеку. Когда влюбилась в автогонщика и собралась замуж, Марина настояла, чтобы заключили брачный контракт. Гонщик до свадьбы успел разбить ее машину, занять десять тысяч евро — всё, что Соня накопила, за ее счет ел и пил, ни в чём себе не отказывая, пропадал где-то по нескольку дней с друзьями. Сама мысль о контракте Соню возмущала и оскорбляла, но Марина сказала, что без контракта не возьмет ее на работу. Красавец-гонщик в конце концов так и пропал, вместе с деньгами. Соня в слезах благодарила Марину, через год накопила на первый взнос и взяла ипотеку, съехав от тетки. Но снова влюбилась в лохматого компьютерного дизайнера, которому, судя по всему, было мало что интересно, кроме его программ и анимэ.

Когда-то, в разгар романа с гонщиком, Соня бросила Марине в сердцах:

— У вас Вадим проходит по какому разряду, как здоровый образ жизни или как стилист? — И сразу извинилась, испугалась.

Марина задумалась.

— Наверное, как воспоминание о дочери.

Сама удивилась, что так ответила. И только потом поняла, с этим молодым парнем, только на восемь лет старше Насти, она так долго не потому, что пылок, а потому что пытается представить, как и чем живет Настя. Чтобы быть к ней ближе.

Они познакомились три года назад на презентации продуктов лечебной косметической промышленности, он сам подошел и спросил, как ей представленные новинки. Оказался представителем фирмы, только что вернулся из Швейцарии, где провел год на стажировке. Невеста вы-

шла замуж за другого. Это всё он успел рассказать сразу, как рассказывают попутчику в поезде, не боясь. И мать уехала жить к овдовевшему другу детства, олигарху. Высокий, в дорогом прекрасно сшитом на заказ костюме, внешне лощеный, он показался тогда похожим на бездомного щенка. Они стали встречаться. Марина никогда не давала ему ключи от квартиры, и он уважительно держал дистанцию, никогда не появлялся без звонка и без изысканного букета. Каждый месяц они ездили на выходные, иногда захватив лишний день, в подмосковные спа, в Вену, которую любила она, или в швейцарские Альпы, которые любил он; могли сорваться на выставку Брейгеля или премьеру в опере. У них оказалось много общих увлечений, и Марина с удивлением иногда ловила себя на том, что никогда не чувствовала себя так легко и уютно, как с этим мальчиком, на двенадцать лет моложе, который искренне радовался хорошей постановке, вкусной еде, нетрудному восхождению. Она с искренним интересом вникала в дела его компании, иногда подсказывала, как лучше поступить, и представляла, что бы посоветовала Насте, которая с первого класса советов не терпела. Марине никогда не забыть, как она, вернувшись поздно после суточного дежурства на телефоне доверия, измученная, подошла к дочери, которая корпела над уравнением, спросила, как помочь, обняла.

Настя, вырвалась, закричала:

— Оставь меня в покое наконец! — И повторила спокойно, ледяным, звенящим от ненависти голосом: — Навсегда оставь меня в покое, ты поняла?

В самые дурные минуты она вспоминала этот голос, раздувающиеся ноздри и сверкающие злостью глаза дочери.

Настя училась хорошо, победила на всероссийской олимпиаде по биологии и без экзаменов поступила на бюджетное отделение на биофак, потом стажировка в Институте Пастера, после которой прямиком, вместе с сокурсником, с которым поженились в Москве, укатили

в город Гауда, в лабораторию по разработке лекарства от Альцгеймера. Марина приезжала в город, знаменитый своим сыром, дважды — по дороге из командировки в Роттердам и на 25-летие Насти, оба раза уезжая с чувством какой-то неловкости и недосказанности. Настя и ее муж были внешне приветливы, водили ее в ресторан, показывали город и свой маленький садик — два метра перед дверью университетского дома для преподавателей, где росли незнакомые цветы без запаха. Оба были увлечены работой, жили, казалось, в своем закупоренном, как пробирка, недоступном другим мире; они формально спрашивали и формально отвечали на вопросы, но в воздухе их выдержанного в популярном экологическом стиле жилища висела пустота, в которой, как казалось Марине, эхом отдавалось то же самое: «Оставь меня в покое»!

Вадим привык вскоре советоваться с ней обо всём. Отец, химик, занявшийся коммерцией в 90-х, погиб; мать была властной, если не деспотичной, требовала от сына не просто успехов в учебе и работе, но непременно триумфа, и он боялся ее разочаровать. Ему казалось, что мать его предала, и Марина осторожно пыталась объяснить ему, что он не прав, что всё не так трагично, что они еще успеют понять незаменимость друг друга. Через год примерно после их знакомства Марина получила на день рождения огромный букет. В надушенном конверте — тисненая открытка и несколько слов четким почерком: «Спасибо, что поддерживаете моего сына».

Платили по очереди за отели и рестораны, вообще, в их отношениях установился уважительный паритет, к которому оба относились с юмором. Как-то Марина поинтересовалась, не хочет ли он завести семью и детей, и тот искренне удивился и спросил, не собирается ли она его бросить. Иногда ей казалось, что, разговаривая с ним, она слышит Настю, ту, которая тщательно от нее пряталась в свою скорлупу. Рассказать о дочери решилась через пару лет, когда они были в Риме и падали в кровать, изнемогая

от длительных прогулок по вечному городу и новых открытий, которым оба радовались по-детски.

— Бедная ты моя! — он осыпал ее поцелуями, стараясь осушить внезапно брызнувшие слёзы, но слёзы лились и лились.

— Обещай, что ты никогда не будешь больше плакать, — очень серьезно сказал он утром. — Никто не стоит, чтобы ты плакала, даже Настя.

— Я никогда и не плачу.

В переулках у Арбата не оказалось ни одного места, и Марина заехала на стоянку отеля, пошла назад по Садовому. На месте гостиницы когда-то был бар «Лабиринт», куда они ходили после стипендии. Там же отмечали первую свадьбу, совсем скромно, столик на шестерых, однокурсник продал диск Nazareth — на это и гуляли. У Марины вдруг окончательно испортилось настроение.

Она не любила Арбат, толчею у Макдональдса, грязноватых мазил на складных скамеечках, зазывавших прохожих запечатлеть себя за тысячу рублей на куске ватмана, провинциальных зевак, таращащихся на витрины, стайки туристов, фотографирующих друг друга на фоне всего вокруг, даже студентов Гнесинки, неожиданно чисто исполняющих «Времена года» Вивальди… Раздражения не могли развеять ни вывеска Музея Лосева, ни печальная фигура Окуджавы перед кафе «Босфор». В этом доме жила Людмила Михайловна Алексеева, диссидентка, глава Московской Хельсинкской группы. Марина приходила к ней несколько раз вместе с другими женщинами — сотрудницами центров помощи пережившим насилие; искали и находили поддержку, пили чай за круглым дубовым столом перед стеклянным шкафом со знаменитой алексеевской гжелью… Как давно это было. Памятника тогда еще не было, и в сквере отдыхали бомжи вместе с усталыми туристами…

В этот день Окуджаву оказалось видно только наполовину — между ним и Арбатом сотрудники ресторана «Муму» поставили огромную бело-оранжевую корову.

Марина вошла в «Босфор», заказала турецкий кофе. Брыщенко появился ровно к назначенному времени. Он, видимо, торопился, на низком лбу блестели капельки пота.

— Вот, — разложил на столике новые бумаги, испещренные цифрами.

Это была информация о суммах, выплаченных в разное время госпожой Брыщенко администрации летнего лагеря для детей с особенностями развития и конюшне в Подмосковье.

— Вы видите, это намного больше, чем необходимо для пребывания ребенка в лагере. Я не против того, чтобы ребенок проходил иппотерапию, сколько это необходимо. Но десять лошадей — это уж чересчур. Для этого есть благотворительные фонды. Так нельзя расходовать семейные деньги. Я бы хотел, чтобы это было учтено.

Адвокатская контора «Стелла» славилась тем, что все клиенты покидали ее удовлетворенными, даже если первоначальные их планы сильно отличались от полученного результата. Это был фирменный знак, главная тайна, недоступная наступающим на пятки конкурентам. Основатель конторы, сын генерала КГБ, в перестройку поехал учиться в Америку, окончил аспирантуру по ювенальной юстиции и, вернувшись, активно включился в ее продвижение, но вскоре почувствовал изменение ветра и быстро перестроился, стал активным защитником семейных ценностей. Однако полученных в американской академии знаний не растерял и обрел золотую жилу — стал заниматься бракоразводными процессами олигархов, имеющих активы и недвижимость за границей. Помимо денег и поместий, новые русские делили детей, это было внове в России, но совершенно нет — за ее пределами.

Впервые в контору, названную в честь жены основателя, Марина попала в начале нулевых, ее поразили роскошный интерьер, бульдожьи лица секретарш и ботинки из крокодиловой кожи на ногах директора. Чуть позже она заметила массивные золотые запонки с бриллиантами. Ее

пригласили помочь в деле магната, который, недолго думая, поместил надоевшую супругу в психиатрическую клинику в Нидерландах и объявил ее недееспособной. Дело получило огласку в нидерландской прессе. Нужен был специалист по домашнему насилию. Марина блестяще справилась с заданием — весь опыт, полученный на тренингах и на телефоне доверия, пригодился.

Она поехала в Роттердам, посетила местные женские организации, куда успела обратиться несчастная, выявила наличие последовательного психологического прессинга, которому та подвергалась, особенно после того, как сама хотела подать на развод. К тому времени, как Марина привезла убийственный материал, выяснилось, что магнат обидел не только жену, но и влиятельных людей в правительстве, отказался финансировать важный объект и сам попал под следствие за неуплату налогов. Процесс освещали в СМИ, олигарх публично каялся, оплатил стройку, назначил достойное содержание выпущенной из психушки жене и просил разрешения встречаться с детьми, которые под радостное одобрение зрителей и читателей остались с матерью в том же Роттердаме.

Марина стала юристом бюро, ей доверяли особенно деликатные дела, переговоры с обиженными супругами. Основатель ценил ее компетентность, четкость, умение промолчать и найти выход из трудной ситуации. Когда пошел в политику, даже хотел сделать ее директором, но она благоразумно согласилась с альтернативным предложением — остаться главным юристом, а директорское кресло отдать давно нацелившемуся на него бывшему полковнику, другу отца основателя. Тот в дела особенно не лез, предпочитая руководить дистанционно — с дачи или из любимой Праги, где имел небольшой дополнительный бизнес. Марина настояла, чтобы роскошные апартаменты сменили на строгий офис в Москва-Сити, переодела штат из «Версаче» в «Балли», прогнала всех сотрудников через тренинги по деловому этикету и психологии конфликта. И сама оделась в марку, которую никогда не любила: туфли,

и сапоги на невысоком каблуке, сумки и ремешки — только от «Балли»; костюмы — строго классического покроя, от «Энн Кляйн» или «Зара»; легкий тщательный макияж, никаких вольностей в прическе. Скромное кольцо с бриллиантом. С первой минуты облик юриста должен создавать впечатление респектабельности и профессионализма. Никаких заигрываний или намека на неформальные отношения с клиентами. Ровно и доброжелательно. Твердо, если есть необходимость. Логика и система аргументов — главный залог успеха. Психологические приемы — это та же система аргументов, просто в ином измерении. И никто не должен догадываться, что ты думаешь о них на самом деле. Что у тебя вообще есть какие-то мысли и чувства, помимо интересов клиента и репутации своей фирмы. Так она учила молодых, так объясняла стратегию успеха коллегам, казалось, и сама превратилась в механизм по достижению успеха в муторных, подчас откровенно неприятных делах, где проявлялись самые неожиданные, часто отвратительные свойства. Появление Вадима, отношений с которым она не афишировала, но и особенно не скрывала (нет смысла, всё равно все узнают), в глазах коллег только прибавило ей веса: успешная бизнес-леди имеет молодого друга, представителя международного бизнеса, атрибут неизменного успеха…

Брыщенко с его механическим монотонным подсчетом ее раздражал всё больше. Она представила его на кухне, наливающим кофе, просматривающим новости в айфоне, пока жена наливает кофе.

Он брезгливо отодвинул чашку с капучино, потребовал счет.

Вот так же он отодвигает всех, с кем прожил жизнь и с кем собирается жить дальше, вдруг подумала она и содрогнулась. Это хуже, чем очевидное насилие, это бездушие, перед которым беззащитны все. И прежняя жена не настаивает на своем, смирившись с тем, что ее ожидает, и нет никакой возможности ей помочь; и у будущей нет никаких перспектив…

Клиент включил звук, кратко ответил, что скоро будет, и попрощался. День первого слушания был назначен. Марина попросила еще кофе. Официант принес кофе с молоком, который она не пила. Ну пусть. Достала телефон, собираясь позвонить Вадиму. Отпила глоток. И вдруг вспомнила давнее, о чём не думала много лет.

Она идет по Плотникову переулку к Арбату, к Смоленской, размахивая папкой, в которой тетрадки с английскими выражениями и потрепанная книжка Моэма, которую надо прочитать к следующему уроку. Троллейбус тащится, громыхая по щербатому асфальту, весна, лужи; она заходит в Смоленский гастроном, где в кафетерии роскошь — бутерброд с «Докторской» колбасой и кофе — за двадцать копеек. У нее есть билет на электричку, а от станции домой можно дойти пешком. Последние минуты в Москве, растягиваешь удовольствие. Она встает за высокий столик, дует на горячий напиток.

— Вы хотите сниматься в кино?

Напротив стоит человек в распахнутом длинном пальто, яркий шарф, растрепанные волосы.

— Я режиссер. Я видел, с какой радостью вы несли этот кофе. У вас удивительные глаза. Я бы вас снял в новом фильме. Это пока только замысел, но я бы пригласил вас на пробы. Как вас зовут?

— Марина.

— Андрей. Вы студентка?

— Собираюсь, — подумав, ответила она.

— У вас удивительная пластика. Как у теленка, простите, неуклюжая и очаровательная одновременно. Как раз то, что я бы хотел.

Он стал рассказывать, что задумал кино о молодом человеке, который ищет себя в прошлом, он убегает из настоящего, и не может найти себя нигде, и встречает девочку, которая умеет летать. То есть об этом никто не знает, но он догадывается, что она по ночам открывает окно и взмывает в небо вместе с птицами. И однажды он ее видит, но не успевает поймать…

— Я вижу, как вы поднимаетесь на подоконник, вот так, как стоите сейчас, чуть вперед левое плечо, и смотрите на небо…

Марина слушала, затаив дыхание.

— Вы знаете, где «Мосфильм»?

Она замотала головой.

— Тогда приходите сюда завтра. В это же время. Поедем вместе. Хотите еще кофе?

Марина опомнилась, посмотрела на часы — надо бежать, она опоздает.

— Так до завтра? — крикнул Андрей.

— До завтра, — она уже бежала к выходу.

Электричка ушла, следующая не останавливалась на ее станции, домой она пришла совсем поздно, мокрая до нитки. Ночью ее знобило, она видела во сне девочку, встающую на подоконник, слышала голос незнакомца. Утром у нее поднялась температура и пропал голос, врач выписала больничный. А через день случилась беда. Лучшую подругу Веру изнасиловал и избил мужик, взявшийся подвезти в дождь от станции. Отчим Веры, участковый, был навеселе, когда она пришла; не поверил и сам избил, обозвал шлюхой, заодно избил мать, пытавшуюся ее защитить. Вера убежала из дома и бросилась под скорый поезд. Ее спасли, но поездом оторвало руку.

Мужика нашли, он отпирался, говорил, что девка сама хотела раскрутить его на выпивку в кафе у станции; отчим тоже отпирался, мать с младшим братом валялась в ногах у следователя, чтобы его не сажали. Марина рассказала следователю то, что все знали: отчим бил жену и падчерицу, гонял по двору, сам не раз к ней приставал. Вера давала путаные показания. Мужика оправдали, после этого у отчима появился новый мотоцикл. А Марина решила не идти в педагогический, а поступать на юрфак.

Много раз, уже на первом курсе, она специально приезжала в «Смоленский», подолгу стояла в кафетерии, покупала то молочный коктейль, то тот же кофе с молоком. Но незнакомец больше не появился.

Вера после больницы не вернулась в школу, устроилась на почту, сошлась с алкашом-кладовщиком, вместе и погибли, отравившись паленой водкой. Марина лежала на сохранении, узнала, когда обоих уже похоронили. Они уже жили с мужем в Москве, в квартире, которую сняла свекровь. Марину она недолюбливала, хотела, чтобы сын женился на другой, дочери капитана дальнего плавания. Он в конце концов и женился. Насте было всего три года, когда, вытряхивая мужнины брюки перед стиркой, она увидела записку: было ясно, что встречаются давно и ждут, пока она с ребенком уедет на каникулы к родителям. На вопрос Марины он только пожал плечами, а когда она предложила развестись, не стал возражать. Тогда она и перевелась на вечерний, снимала комнату, подрабатывала машинисткой и оказалась в очереди за детским питанием рядом с сотрудницей одной из первых в Москве горячих линий для женщин, переживших домашнее насилие. Через неделю она пришла туда волонтером, через год стала юристом кризисного центра. И параллельно поступила на факультет психологии заочно, понимая, что важно не сойти с ума, выслушивая с утра до вечера страшные исповеди, от которых подчас вставали дыбом волосы, и чаще всего нечем было реально помочь.

Психологические тренинги помогли пережить второй развод, неожиданный и унизительный. Она уже начала работать в «Стелле», взяла кредит и купила «трёшку» — новый муж, бывший клиент их бюро, правда, не олигарх, настаивал, что для семьи с ребенком надо не меньше. Эту квартиру он требовал разделить, когда решил сойтись с прежней семьей. Марина отстояла свое, использовала связи учредителя. Все долгие месяцы, пока шел процесс, она приходила в офис с высоко поднятой головой, открытой улыбкой, ничем не выдавая того, что творилось в душе. Дала интервью популярной газете о том, как бессовестно бизнесмены расправляются с бывшими женами. К тому нагрянула налоговая. Он приходил, валялся в ногах, просил не губить бизнес, обещал вернуться и забыть

о прежней семье. Она со спокойной улыбкой на недрогнувшем лице довела процесс до конца. Молодые сотрудницы называли ее «наша железная леди», она знала это, не протестовала. Значит, железная. Но живая! И несломленная.

— Что-нибудь еще? — официант взял пустую чашку.

— Нет, спасибо.

Она расплатилась, поднялась легко, подхватила сумку с документами. Надо бы наконец поменять это «Балли» на что-то еще.

На Арбате только что закончился дождь, на мокром асфальте заново расставляли свои пожитки художники и ряженые, Марина пересекла улицу, вдохнула влажный воздух и вдруг почувствовала, что Арбат пахнет Арбатом, как тридцать лет назад, когда тут не было пафосных бутиков и цветных фасадов. Она покосилась на угловой супермаркет «Седьмой континент» и вслух сказала: и он всё равно «Смоленский»! Под ноги прикатился пластмассовый шарик — пнула, так что он подпрыгнул, полетел на середину пешеходной зоны.

— Девушка! Девушка, постойте! — услышала, как ее окликает немолодой художник. — Постойте! (В руках держит отброшенный ею шарик.) Давайте я вас нарисую! Бесплатно!

Она засмеялась, покачала головой.

— Ну правда! Посмотрите, как на нее похожа! Посмотрите!

Она подошла. На листе ватмане увидела рисунок черным фломастером: девочка в развевающемся длинном платье летит, широко раскинув руки; рядом с ней, вровень, над ней, и под ее ногами машут крыльями птицы с раскрытыми призывно клювами.

— Правда, похожа?

Художник хитро прищурился. Зеленые глаза под седыми бровями, затертое пальто, красный шарф на тощей шее.

— Правда! — Она еще раз посмотрела на рисунок: — Точно я!

Она открыла сумочку, достала тысячу рублей, положила в коробку.

— Нарисуйте… вот ее! — она увидела девочку с рюкзачком, джинсы, курточка, бейсболка, распущенные волосы, остановилась и смотрит на рисунки. — Ей нужнее!

Марина зашагала к стоянке, размахивая сумкой, как школьной папкой, с которой шла на урок к англичанке из пединститута. Шла и улыбалась, как будто огромная и счастливая жизнь ожидала ее впереди. И разве нет?

ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

Сообщение пришло после полуночи, в начале первого. Рита нащупала телефон на тумбочке. На секунду замерла, не решаясь включить экран.

Какая глупость, что забыла перевести его в беззвучный режим, теперь не заснуть до утра. Сколько раз говорила себе — после одиннадцати никаких разговоров и переписки. У тебя только что был ковид. Главные правила реабилитации — покой и режим. Питание по часам. Прогулка на свежем воздухе. А главное — сон! В 23:00 выключать все гаджеты, телевизор, чтение в кровати — только успокаивающее, не больше пятнадцати минут. Так сказал врач, да и все кругом это знают. Никаких цейтнотов, ночных бдений, восемь часов сна — закон. Даже если все предшествующие десятилетия было по-другому. Вирус не шутит, он имеет непонятные свойства и неизученные последствия. Спать!

Но как раз спать у нее не получалось. Даже в самый пик болезни, практически недвижима, она постоянно вела диалог и с близкими, и с уже давно забытыми людьми, мертвыми и живыми, с персонажами прочитанных книг и фигурами художественных полотен, не всегда понимая, во сне это или наяву, — и это был какой-то тяжелый, мучительный разговор, сути которого она никак не могла вспомнить, но отчетливо ощущала опустошенность и бессмысленность всего происходящего и себя самой.

Врач, сын знакомой, сам только что переболевший, уверял, что глюки и общение с покойниками — это нормально, так же, как и страх надвигающегося безумия: ковид действует на психику, это его специфическая особенность, в отличие от обычного гриппа. Всё проходит через пару недель, ну, за месяц в крайнем случае. Она, конечно,

знала и читала, что может и за месяц, и за два не пройти, и, вообще, осложнений очень много, обнаруживаются позднее самые неприятные. Хуже всего — на голову. Добрая душа помощница Лика прислала переводной текст о том, как в результате перенесенной инфекции развиваются паркинсонизм, Альцгеймер и банальная деменция.

Рита внимательно прислушивалась к собственному организму, стараясь уловить признаки приближающейся беды. Однако с каждым днем замечала небольшую прибавку сил и прояснение сознания — теперь уже спокойно могла смотреть телевизор, сама мысль о котором еще недавно вызывала острую резь в глазах, отвечать на электронные письма. Вернулось обоняние, став, кажется, еще тоньше, по крайней мере, запахи из соседской кухни, где любили пережаренное, раздражали больше обычного, когда она открывала дверь на лестничную клетку, чтобы вынести мусор. Появился аппетит. Но привычная легкость и скорость, с которой Рита принималась за выполнение любой задачи, никак не возвращались. Она медленно ходила, медленно готовила еду, медленно убирала постель, медленно думала. И хотя ковидные кошмары, в которых дальние и близкие умершие знакомые совмещались с монстрами Босха, прекратились, чувство отчаяния и бессмысленности периодически подкатывало к горлу, мешая дышать.

Врач, Герман, говорил, что это постковидное. Молодой, веселый, он и назначения делал полушутя, после его визитов становилось определенно легче. Он всё время спешил: неизменный смартфон у уха — он, измеряя давление Рите, одновременно отвечал на чьи-то неотложные вопросы, увещевал, сердился, от чего каштановый хохолок, в котором уже проглядывала первая седина, смешно подпрыгивал. При всей серьезности, в нём было что-то от отважного птенца из мультфильма, она забыла какого. У него была жена, тоже врач. Хотела бы она такого мужа для дочери? Готова ли была Дина стать женой преуспевающего и вечно занятого молодого доктора? Трудно сказать.

Дина звонила нечасто, нарушая их договоренность о времени, как правило, не вовремя, выглядела устало, кажется, прибавила в весе. Очевидно обрадовалась, узнав, что у Риты отрицательный тест и вирус ушел. Рассказывала, что в Праге снова вводят карантин, работы много, больше, чем в обычном режиме, но в университетах ожидаются сокращения, преподаватели волнуются.

Дина уехала по обмену аспирантов в Чехию пять лет назад, за это время успела защититься тут и там, получить работу и гражданство. Ее пражская квартира-лофт Рите нравилась, очень удобная, хотя и захламленная. О личной жизни дочери они не говорили никогда. Рита догадывалась, что там не всё гладко. С другой стороны, сегодня у многих тридцатилетних нет особого желания связать себя браком или даже длительными отношениями, не говоря уже о детях… Позднее взросление. Как раз перед тем, как заболеть, она вела пресс-конференцию о молодежи, о затянувшемся вплоть до 25 лет пубертате; кто-то из выступавших, кажется, депутат, предложил продлить его до 28. Точно, как комсомольский возраст.

Сможет ли она вести дискуссии, как прежде, живо и легко? В агентстве она считалась асом разговорного жанра: умела найти подход даже к самым придирчивым заказчикам, убедить, обаять, задать острый вопрос, пошутить и вообще выкрутиться из любого положения. Она была самой старшей, но всегда смеялась над паспортным возрастом — 56 это еще даже не пенсионный срок теперь, важно, как ты себя чувствуешь и как выглядишь. Молодые коллеги старались подражать ее стремительной походке и манере одеваться, чуть небрежно (на самом деле, тщательно продуманно): неизменный яркий шарф, пиджак известного бренда, удобные туфли или полусапожки, безукоризненная прическа, легкий, почти незаметный макияж…

В юности Рита занималась плаванием и предпочитала ходить пешком, поднималась вверх по лестнице на любой этаж. Она не успела огрузнеть и расплыться, как некото-

рые сверстницы. Правда, после второго неудачного краткого замужества и неприятного развода раздалась сразу на два размера — как сказал психолог, здоровая реакция на стресс, хуже, когда наоборот. Но после этого довольно быстро вернулась в форму и навсегда отказалась от алкоголя и ужинов. На фуршетах пила только воду без газа, отшучивалась, что берет пример с Фанни Ардан.

Всё это казалось теперь бесконечно далеко.

«Но уволить меня всё-таки не могут», — неожиданно вслух сказала она, сбросила одеяло, поежилась и включила ночник.

Телефон высветил сообщение по WhatsApp с незнакомого номера. Обычно Рита сразу такие удаляла. Но тут не стала.

«Рита, вы учились в одной школе с Хельгой Беркутовой, — писала некая Лада. — Не знаю, слышали ли вы ее выступление в день памяти Александра Меня. Если нет, послушайте. Зал газеты «Известия», 1995 год».

Рита вздрогнула. Хельгу она видела во сне в первые дни болезни, они бежали по Большой Дорогомиловской улице за троллейбусом, размахивая портфелями и крича что-то водителю, но тот не слышал, и они отставали и отставали, уже выбиваясь из сил… Тогда она проснулась от собственного крика, обливаясь потом, с комом в горле…

«Спасибо. Посмотрю завтра», — ответила этой Ладе автоматически.

«Можно я вам позвоню?» — отозвалась немедленно та.

«Завтра», — с досадой напечатала Рита и отключила звук.

Хрупкий сон окончательно рассыпался. Рита вздохнула и решила посмотреть присланный файл.

Хельга пела а капелла, в необычной манере, очевидно, собственную композицию, не то балладу, не то фолк-рок, высокая и худая, удивительно красивая, какая-то нездешняя. Почему ее считали дурнушкой? Невероятные

раскосые глаза, высокие скифские скулы, светлые волосы…

Жанна Бичевская! Ну да, она доставала все ее записи и пластинки, слушала целыми днями, сама пытаясь подбирать что-то на гитаре в полупустой и вечно недоубранной квартире на Кастанаевской. Из школы они шли туда пешком, пересекая Кутузовский проспект, сворачивали на улицу Олеко Дундича, поднимались на четвертый этаж длиннющей пятиэтажки и забивались в Хельгину комнату. Хельга приносила из кухни хлеб с маслом и чай, и они слушали пластинки, жевали, но больше разговаривали, разговаривали… О чём? Уже не вспомнить толком. Но точно — о невероятном, вроде кругосветного плавания или путешествия в какой-то старинный запущенный замок, где они обе превращаются в рыцарей (не в прекрасных дам, а именно в рыцарей в латах), пируют и встречают колдунов и карликов, и планируют поход на Восток спасать святыни и искать волшебный кубок… Это всё придумывала Хельга и рисовала фигуры воинов с их девчачьими лицами, комнаты замка, алебарды и гербы: себе в герб она выбрала красную орхидею, а Рите — белую… Да, истории этих приключений сопровождали их весь восьмой класс, пока Хельга не перешла в другую школу, она была их вдохновителем и основным автором.

К новогоднему вечеру с дискотекой (ее провели впервые, это было важнейшим событием) Хельга с Ритой репетировали дуэт, House of the Raising Sun под аккомпанемент сборного ансамбля параллельных классов. После прогона с участием завуча петь на английском запретили, но быстро нашли русские слова и переписали афишу. С тех репетиций непременным героем их рыцарской саги стал Федя Пухов, барабанщик. Он был белокур и голубоглаз, но интереса к девчонкам не проявлял, предпочитая фарцовку виниловыми дисками и сигаретами. Ни одна из историй не обходилась без него, его портрет Хельга без конца рисовала на уроках — в тетрадке, на обложке учебников, на тыльной стороне собственной руки… Отважные рыцари

Алой и Белой Орхидеи неизменно его выручали из беды, одолевая злых духов и врагов из соседнего замка, похищавших девушек из окрестных деревень, чтобы продать их в рабство. Девушек Хельга и Рита, впрочем, тоже выручали.

Рита ясно вспомнила рисунок шариковой ручкой на Хельгином предплечье: Федя Пухов, прикованный к столбу, и Хельга на коне, разрубающая его цепи. Этот рисунок случайно попался на глаза Вильгельмине Игоревне, историчке, и та закатила скандал с вызовом родителей. Отец Хельги, народный артист Клим Беркутов, приходил в школу, и вся учительская выстроилась взять у него автограф.

Неведомая Лада прислала несколько записей разных лет, в основном 1990-х — сольные концерты, выступления на сборных вечерах, гастроли вместе с группой «Й». Музыку и слова писала сама Хельга. Вариации на фольклорные мотивы, баллады и очень странные композиции, не то молитвы, не то воззвания — голос невероятного диапазона, крик одинокой страдающей души, который не отпускал еще долго после того, как выступление закончилось. Фотографии: вот Хельга в кожаных ботфортах и куртке на сцене; вот — в цветочном венке на высоком берегу реки, похоже на Суздаль; вот — в просторной полотняной рубашке до пят, чуть ли не в рясе… Краткие рецензии на ее концерты. Информация о гибели двух музыкантов из группы «Й» на сплаве в Алтайском крае в конце 1990-х…

Рита начала искать информацию в Сети. Не много. Заметка в центральной газете, из которой она в свое время узнала, что Хельга умерла. Подробный рассказ о том, как нетрезвого старика Клима Беркутова избили менты, которых он обматерил на улице. Негодяи бросили его на морозе умирать со сломанной челюстью и сотрясением мозга. Фотография похорон за счет театра. Краткая информация в самом конце: жена-актриса и дочь-певица умерли за год и за два до этого. Вот репортаж из Владимирской области, где жила Хельга со своими музыкантами и друзьями и учила местных школьников пению. Не то убежище хиппи,

не то становище сектантов, судя по фотографии. И заголовок соответствующий — «Обитель хаоса». Да, в Хельге всегда было что-то незавершенное, будоражаще-тревожное, темное; Рите иногда становилось с ней рядом не по себе, особенно когда она хватала Риту за руку и начинала говорить всё быстрее и раскачиваться, словно повторяя какие-то заклинания… Рита как будто снова почувствовала это пожатие и поежилась.

И не заметила, как заснула — с включенным светом, с открытым прямо на кровати ноутбуком.

В десять утра принесли продукты из «Перекрестка». Рита долго не понимала, откуда звонок в дверь, потом вскочила, пошатнулась и уже осторожнее пошла открывать, на ходу завязывая халат.

Самое муторное в продуктах из доставки — протирать всё спиртовым раствором, с самого начала эпидемии именно этот ритуал приводил Риту в бешенство. Больше, чем маска, наносящая непоправимый вред макияжу, чем даже практика пропусков для передвижения по городу, к счастью, не очень продолжительная.

Стараясь не поддаваться раздражению, Рита достала из шкафчика бутылку из-под водки, заполненную техническим семидесятипроцентным спиртом, оторвала шматок бумажного полотенца и приступила к санобработке. Кефир, творожная паста, упаковка яблок, рыбные котлеты…

У Хельги дома никогда не было еды, только хлеб и масло — каждый раз, заходя в булочную, она покупала сразу несколько батонов, Риту это удивляло. Она привыкла, что в доме всегда есть первое и второе, и в холодильнике какая-нибудь заначка вроде куска сыра, на всякий случай. Хельгины родители пропадали на съемках или в театре до позднего вечера. На день рождения дочери Клим Иванович повез подруг в ресторан Дома актера на улице Горького, там Рита впервые попробовала грибную икру и маслины. За столик к ним подсаживались его знакомые актеры, спрашивали, кем хочет быть Рита, говори-

ли, что у нее неплохая внешность для кино… Взрослые пили водку, и, когда ехали назад на машине, их остановила автоинспекция. Клим Иванович долго что-то объяснял, потом дал записку на контрамарку. Их отпустили… Что еще было тогда? Ходили на премьеры — сидели в директорской ложе сбоку — и на спектакли, стоящие в репертуаре давно. «Сирано де Бержерак», «Судьба человека», «Волки и овцы», «Отцы и дети»… Всякий раз в театре Рита испытывало странное чувство, ей страстно хотелось раствориться в реальности спектакля, который увлекал за собой, погружая в неведомые глубины, и одновременно было страшно оторваться от реальности и ее сегодняшней, пусть простой, но понятной жизни. А Хельга в эти минуты была где-то бесконечно далеко, полностью погружаясь в иллюзорный мир, иногда крепко хватала Риту за руку, и она сидела, боясь шелохнуться, испытывая всё большее и большее неудобство.

В середине дня позвонил учредитель:

— Маргарита Петровна, свет моих очей, приветствую! Как самочувствие? Сняла наконец корону, ха-ха? Что эскулапы говорят?

— Для общества безопасна совершенно, — ответила. Манеру учредителя она терпеть не могла.

— Ну и славно. У меня к тебе просьба. Надо сделать пресс-конференцию о благоустройстве Восточного округа. Срочно.

— Это там, где хотят снести усадьбу? — не сразу сообразила Рита.

— Именно. И построить центр реабилитации для детей-инвалидов, между прочим. — Он вздохнул: — Личная просьба мэра.

— Но ведь в новостях…

— Да, конечно, надо будет пригласить участников пикетов, Митрохина, оппозиционеров, каких хочешь. Чтобы, так сказать, и овцы, и волки…Ты же понимаешь. — Он очевидно чувствовал некоторую неловкость: — Только ты су-

меешь, ты же богиня пиара. Признанная причем профессиональным сообществом. В пятницу сумеем провести?

— В понедельник, — отрезала она.

— Но ведь сейчас только среда! — он был искренне удивлен, привык, что Рита всё решает стремительно.

— Я на реабилитации, — строго сказала Рита. — Ковид не шутит.

— Понимаю, понимаю, давай завтра к обеду пришли предварительную программу и релиз. — Он вздохнул: — На меня наседают. Задолбали суки… — голос его сорвался.

Потом он матерился долго и безнадежно, голос то подскакивал до фальцета, то падал и дрожал. Она молча ждала.

— Ритка, прости. Только тебе и могу поплакаться. Как сестре. Помнишь, как мы с тобой начинали? До сих пор думаю, это было лучшее время в жизни. А теперь — труха. Дети не понимают. Все погано кругом… И ковид этот гребаный… Каждый день думаю, как бы не заболеть. Ты-то уже отстрелялась, антитела… А у меня диабет и гипертония, — он снова вздохнул. — Так договорились?

— Постараюсь.

— На тебя вся надежда, — он уже успокоился, голос по-молодому зазвенел. — Потом получим контракт на продвижение безопасности на дорогах России и Европы, новый проект. Санкции отдыхают! На год! Ты, естественно, разработчик стратегии и главная персона. Не эта же дура Лика, или, как ее, вертихвостка… Обнимаю, обнимаю, Динке привет.

Отключился. Рита уловила слабый укол тревоги. Лика, ее помощница, вульгарная крашеная блондинка, без меры льстивая и беспринципная во всём без исключения, мечтала ее подсидеть. Тридцать пять лет. Наверняка пыталась соблазнить учредителя, думая, идиотка, что он спит с Ритой. Иных вариантов ее убогий мозг не воспринимал. Дура. Впрочем, сейчас таких много.

С учредителем они познакомились в далекие годы перестройки, когда Рита после университета работала стажером на радиостанции «Юность» в программе «Полевая почта». Она нашла среди писем в редакцию исповедь комсорга подмосковной воинской части, обличающего командиров, использующих солдат-срочников в личных целях вроде строительства бани или отгрузки ворованных стройматериалов. Парня нашли, пригласили в студию, об истории писали в «Огоньке», бузотера хотели было засудить, но в результате он вышел победителем, даже стал муниципальным депутатом. Потом работал в правительстве Москвы, но вовремя, до перетасовок, ушел и после череды в меру ответственных, но безопасных позиций основал пару неброских стабильно успешных бизнесов, в том числе небольшое пиар-агентство. В кризис 2008-го, когда Рита оказалась без работы, в долгах, обманутая бывшим мужем, она встретила его на какой-то тусовке и, не задумываясь, приняла предложение пойти в ту самую контору, которую со временем и возглавила. Наверняка учредитель имел связи не только с властями города и силовиками, но и с криминалом, однако никаких сомнительных с точки зрения закона заказов не давал и ценил Ритино умение разрулить конфликт интересов и придать интеллигентный шарм всем мероприятиям.

Журналистская карьера у нее не сложилась. Писать было трудно всегда, зато получалось задавать в прямом эфире интересные вопросы, поворачивать живую дискуссию в неожиданное русло — это ценили и участники разговора, и слушатели. Но вместе с новым руководством в редакцию пришли новые люди, и ее программу сократили. В пиар-агентстве она нашла себя. Наладились отношения с дочерью, удалось отдать долги, даже поменять машину и обустроить новую квартиру. Непродолжительные романы поддерживали в тонусе, льстили самолюбию, но не занимали существенного места в ее жизни, она давно поняла, что залог благополучия — спокойствие и душевное равновесие. Учредитель доверял ей и подчас давал довольно

деликатные поручения, которые она блестяще выполняла, не рискуя репутацией компании, в которой ввела режим просвещенной монархии: ничего не предпринималось без ее решения. Вирус нарушил всё, и вынужденное отсутствие неизбежно влекло какие-то неприятные последствия. Временами даже во время жара она думала об этом, но воспаленное сознание тормозило неприятные мысли и погружало в забытье.

Лика. Учредитель неслучайно о Лике напомнил, наверняка она что-то задумала в это время, надо будет разобраться. С этой мыслью она провалилась в сон.

Лада позвонила в половине первого ночи:

— Вы послушали? — голос ее звучал глухо.

— Да, спасибо. Я не знала, что у нее была группа. Странное название. И вообще давно ее потеряла. Хотя столько раз думала найти. О том, что умерла, узнала из газет. Когда хоронили Клима Ивановича… Она очень талантливая была.

— Вы любили ее?

— Что? — Рита опешила. — Не знаю. Наверное. Мы были лучшими подругами в восьмом классе. После школы ходили к ней домой, иногда ко мне, но к ней — чаще, на Касатанаевскую, полчаса или больше. У меня потом не было такой близкой подруги.

— Не доверяли другим?

— Даже не знаю. Так получилось.

— А теперь у вас есть подруга?

— Нет. Была одна, она у меня увела мужа. Давно. А потом они разбились на машине.

Лада ответила не сразу, в трубке шелестело, как будто она пыталась что-то отодвинуть.

— Сегодня у нее день рождения.

— Надо же. Я как раз вспоминала ее день рождения, мы ходили с ресторан в Дом актера. Старый, на улице Горького, которой тоже уже нет. Нас пригласил Клим Иванович.

— Весело было? — откликнулась Лада

— Кажется. Подходили артисты, водку пили.

В трубке снова зашелестело.

— Она любила вас. Она говорила, — Лада почти шептала.

— Правда? Мне на самом деле совестно, что я ее потеряла. Она ушла после восьмого класса, кажется, в школу рабочей молодежи. Не помню. Потом мы виделись мельком, она снималась в фильме и пригласила меня на премьеру, но я смогла прийти только на банкет. Она была рада, но очень занята — люди, мы мало поговорили. И потом я снова ее потеряла…

— Фильм назывался «Прости меня, Никита».

— Да, точно, и главную роль играл Федя Пухов, у них по сценарию был ребенок. У Хельги остались дети?

— Нет, — Лада закашлялась.

— Мы вместе с Хельгой пели в школьном ансамбле. Федя был барабанщиком, а мы обе — в него влюблены. Тайно. Пели «Дом восходящего солнца» на первой дискотеке в школе. На русском.

Кашель в трубке.

— Представляли, что Федя вдруг попадет в беду и надо будет его спасти, и тут мы… Доспехи, погони, и мы — рыцари, побеждающие врагов, это Хельга придумывала… Совсем как героиня из фильма Wonderwoman.

— В самом деле? Похожие на нее? На царицу амазонок? — оживилась Лада и снова задохнулась в кашле.

— Точно, точно. Очень похоже. Правда, странно, что мы так давно это всё придумали? Как будто всё ради этого Феди…

— Ей не нравились мужчины, — задыхаясь, прошипела Лада. — Я вам позвоню завтра.

И отключилась.

Весь следующий день Рита искала телефоны протестующих, созванивалась и убеждала прийти на пресс-конференцию, хотя бы виртуально. Как ни удивительно, многие готовы были прийти лично, не опасаясь эпидемии. Она перетасовывала список участников, лежа в постели, вре-

менами забываясь сном, и чувствовала, что силы понемногу, пусть и медленно, прибывают.

В полночь проснулась, уже ожидая звонка, сама, за минуту до сигнала.

— Она мне сказала, что вы — карьеристка, — Лада снова начала разговор без приветствий и других вводных.

— Точно, она мне так и сказала, когда я опоздала на премьеру фильма, — вспомнила Рита, — я тогда опоздала, потому что была на собрании «Мемориала», надо было подготовить передачу…

— Но вы наполовину настоящая. И она вас любила. Почему?

— Не знаю. Я ни с кем никогда больше так не дружила.

— У вас есть муж?

— Было два. Один умер, другой обманул и обобрал. И погиб потом. А дочка далеко. Звонит редко. Но она хорошая.

— Покажите себя. Включите видео, — попросила Лада.

— Нет. Не хочу. Я болела ковидом. Совсем недавно. — Рита вдруг представила себя в постели, всклокоченную, и поморщилась.

— Знаю.

— Откуда? Откуда у вас вообще мой телефон?

— У вас на работе дали. Ваша коллега, кажется, Лика. Я сказала, мне нужно с вами поделиться важной информацией о редких болезнях. Не бойтесь, я очень долго ее уговаривала. Я видела вашу пресс-конференцию об орфанных болезнях еще весной, и вы тогда сказали девушке, которая умирала без лекарств, что пока есть люди, которым не всё равно, есть надежда. Я видела ваши глаза. Вы по-настоящему верили.

— Да, девушке удалось тогда помочь, — вспомнила Рита.

— Я хотела бы об этом рассказать Хельге. Ей было бы приятно. Она следила за вами, когда вы работали, кажется, на радио, слушала передачи.

— Но почему она ни разу не позвонила? — воскликнула Рита. — Может быть, тогда получилось бы…

— Мы с ней вместе хотели уйти, — перебила Лада, — навсегда. Она успела, а меня откачали. Жаль. У меня БАС, слышали о таком?

— Что-что?

— Боковой амиотрофический склероз. Это когда постепенно отмирают все нервы — руки, ноги, позвоночник… Последним умирает дыхательный нерв. И всё. У меня осталась левая рука. Неудобно, но могу нажимать на телефон. Скоро рука перестанет двигаться, останется только дыхание. Так здорово, когда можно дышать, я никогда раньше не понимала… В полночь говорить легче, — она закашлялась. — Я родилась в полночь, видимо, в это время и умру.

— Но, может быть…

— Это не лечится. Даже если бы и не эпидемия, всё равно. Ничего сделать нельзя. Не беспокойтесь, прошу вас. За мной тут ухаживают, следят. Колют лекарства, кормят, социальный работник приходит, сёстры из хосписа. Осталось не много. Я хотела с вами поговорить. Перед тем. Хельга вас любила. Она была для меня всем.

И отключилась.

Главный организатор протестов, молодой архитектор, заболел ковидом, тяжело. Рита умоляла его лечь в больницу, договорилась через Германа с врачами из «Коммунарки», но тот отказывался, говорил, только после онлайн-трансляции. Архитектора поддерживала жена, студентка. Наверное, из-за нее не хотел в больницу, храбрился. Рита обливалась потом, но превозмогала слабость и головную боль, подготовила пресс-релиз, лично обзвонила знакомых репортеров центральных газет и прогрессивных сайтов. Решено было, что она придет в офис и будет вести разговор оттуда. Всё это время в голове крутилась какая-то неясная мысль, постоянно ускользающая всякий раз, как только Рита решала ее додумать. Ковид, конечно, рассеянность внимания… Ничего, пройдет.

Она привела в порядок «счастливый костюм», в котором вела самые удачные диалоги, долго выбирала косметику, призванную скрыть постковидную бледность, осталась недовольна, и отправилась — впервые за три недели — в ближайший торговый центр за недостающим, облачившись в маску и перчатки еще в прихожей. Получасовый выход дался нелегко, в висках стучало, перед глазами прыгали яркие пятна. Она легла на кровать в одежде, без сил, почти теряя сознание. Может быть, ну ее, пресс-конференцию? Но, медленно и мучительно приходя в себя, она понимала, что точно проведет эту встречу, даже если после этого снова будет лежать полмесяца.

Ночью она видела во сне маму, она улыбалась и гладила Риту по голове, успокаивая.

Лада позвонила только через день, снова после полуночи.

— Спойте мне, — попросила она, голос ее был явно слабее, чем в прошлый раз, — про дом восходящего солнца.

Рита напряглась. Она толком не помнила слов, ни русских, ни английских. Но всё-таки сделала усилие и постаралась спеть, угадывая, что Лада на другом конце трубки пытается подпевать, сквозь лающий кашель.

— Хорошая песня. Спасибо. Не сердитесь. Вы единственный мне по-настоящему близкий человек, хотя меня совершенно не знаете. Если я не буду вам звонить, значит, меня увезли в хоспис и уже не могу разговаривать. Хельга говорила о вас. Правда, она вас всё время помнила. Я даже думала, что вы в школе… — голос ее оборвался.

— Лада, Лада, где вы находитесь? — Рита вскочила и заметалась по комнате. — Дайте адрес, я вызову «скорую», я сама приеду! Лада, не уходите!

Лада отозвалась примерно через минуту.

— Она крестилась, уже когда мы жили вместе. Ей священник сказал, что она должна перестать иметь личные отношения с женщиной, если хочет быть христианкой. И

она приняла обет безбрачия. Вы представляете, каково это было?

И тут ее прорвало. Задыхаясь от кашля, она рассказывала об их с Хельгой знакомстве после концерта в Филях. По паспорту Лада была Саида Ахметова, ингушка, за лесбийские наклонности ее хотели убить братья и муж, за которого выдали в 16 лет насильно; она сбежала в Москву, работала уборщицей в парикмахерской экономкласса, потом, после встречи на концерте, убирала у Хельги и родителей, сама напросилась. На Кастанаевской в то время уже жил Федя, пытавшийся сделать карьеру каскадера; он пил, бил Хельгу, гулял и в конце концов погиб при выполнении очередного трюка. Хельга хотела выброситься из окна, Лада ее сняла с подоконника. Потом они жили в Суздале, в доме родителей Хельги, пока не случился пожар, потом — в съемной избе, такая коммуна фолк-рэперов. После гибели музыкантов на Алтае сблизились с местной лесбийской тусовкой, но не нашли понимания, как в свое время Хельга не нашла понимания в московском театре. Лада вела хозяйство, куры, коровы, вместе учили детей пению. Хельга пела в церковном хоре. Записи и выступления денег практически не приносили. Пили. Покончить с собой Хельга пыталась неоднократно. Хотя и грех. Вместе с Ладой решили напиться коньяку с психотропными. Ладу откачали. БАС у нее к тому времени уже прогрессировал.

Рита слушала, обливаясь слезами, лишь изредка откликаясь.

— Спасибо вам, — закончила почти шепотом Лада. — Вы — настоящая. Я вас люблю. А вы? Вы меня любите?

— Да, да, да, — начала Рита, но в отчет раздавались только короткие гудки.

На следующий день умер молодой архитектор, отказавшийся лечь в больницу. Протестующие выстроились в одиночные пикеты у обреченной усадьбы и у префектуры округа. Их начали задерживать. Учредитель собирался отменить пресс-конференцию, но журналисты уже подтвердили участие, прошли сюжеты в ленте новостей, вдова-

студентка выступила в ютьюбе с воззванием стоять до победного конца.

Рита проклинала себя за то, что согласилась, что вообще заварила эту кашу, она чувствовала, что мерзостный ковид еще полностью не отпустил и ее сил не хватит на то, чтобы сделать задуманное…

После обеда позвонила Дина и рассказала, как взялась вести новый семинар — социология протестов в Европе в период пандемии. Нужен российский материал. Осудила Ритину вылазку за косметикой — впрочем, она никогда не понимала в ней толку и сама не красилась, как и ее подруги, что в Праге, что в Москве. Правда, заволновалась искренне, и это было приятно. Не такая она на самом деле равнодушная…

Рита обрадовалась, что может помочь дочери, полдня тщательно подбирала материал для нового курса. Это немного отвлекло от мыслей о завтрашнем событии.

Вечером забежал молодой врач Герман, принес какие-то импортные витамины, послушал легкие, выпил кофе на бегу. Заметил выглаженный деловой костюм, всё понял, покачал головой.

— Может, еще рановато? По скайпу никак? Или в зуме?

— Нет, — ответила Рита. — Я должна пойти сама. Знаете, я решила уйти из агентства. — Она неожиданно сформулировала то, о чём не решалась сказать сама себе.

— И хорошо, — вдруг обрадовался Герман. — Тогда идите точно. Ковид, вы знаете… — но тут ему снова позвонили, он заволновался, оставил уже надкушенную конфету в фантике и побежал куда-то.

Рита вдруг успокоилась.

Засыпая, она положила телефон рядом, на случай если позвонит Лада. Но она не звонила.

Пресс-конференцию она начала с минуты молчания в память о погибших от ковида и других тяжелых болезней в эти дни. Она не помнила, что именно говорила. Позже, лежа дома со льдом на раскалывающихся от боли висках,

слышала сообщения на автоответчике: возбужденный голос учредителя, восторженные слова Лики, благодарность вдовы и пикетчиков, звонки репортеров, которые просили уточнения, кто-то включил официальное сообщение о том, что префектура изменила решение и теперь рассматривает строительство реабилитационного центра в другом месте.

Лада не позвонила ни в понедельник, ни во вторник. Ни позже.

Через несколько дней Рита принесла из багетной мастерской обрамленную фотографию юной Хельги в цветочном венке и, чуть поколебавшись, поставила на секретер рядом с портретами мамы и дочери. В агентстве не поняли, почему она решили уволиться в самый разгар эпидемии, тем более когда сама наконец удачно одолела вирус. А Рита передавала дела ошалевшей Лике и думала, что ей никогда не было так легко и просто, как сейчас. Начиналась новая жизнь — какая, она не знала сама.

ПОЧЕМУ МЫ ЕЁ НЕ ЗНАЛИ?

В ковидном бреду, когда границы между явью и инобытием растворяются, оживают лица и голоса, которых уже давно нет, и сознание продолжает незаконченные с ними разговоры. Сын, доктор, объяснил это вполне научно: такова природа вируса, он возбуждает мозг больше, чем обычный грипп, и общение с покойниками или просто видения в духе Дали и Магритта — норма. Не знаю. Может быть, так и есть, а ненормально как раз то, что память сердца ничуть не лучше памяти рассудка и быстро стирает, как на песчаном пляже, даже самые важные когда-то знаки. Ковид просто корректирует наше несовершенство.

Чаще других в эти дни в моих видениях присутствовали бывшие однокурсники — Саша Авдонин и Саша Бродский, мужская половина нашей тогдашней неразлучной четверки. Они приходили ко мне почти каждую ночь, которую я не вполне, впрочем, отличала от дня, и каждый раз это была радостная встреча. Хотя никак не могу вспомнить, о чём именно мы говорили. Когда-то, в позапрошлой жизни, мы звали их для краткости Саша А. и Саша Б. — так придумала Майка. Сама Майка в наших встречах отсутствовала. Зато с нами была Натка Полонская. Та самая, из Питера, с Фонтанки. О чём говорили с ней, тоже не помню. Но неотступающее чувство вины за что-то, что мы могли, но не сделали, остается. Хотя что мы могли для нее сделать на самом деле? И почему, почему мы ее совсем не знали?

Майская поездка в Питер в конце второго курса полностью перевернула нашу жизнь. На Фонтанку, в ту самую квартиру, мы попали случайно. Адрес Саша А. получил от соседа, неформального художника Дрю, и слова, которые надо было сказать, как только нам откроют дверь. Что мы

от Топа и Мокасея. Это было настоящим спасением — наша очередная вылазка висела на волоске, так как Майкина бабушка, милостиво принимавшая нас вот уже почти два года, загремела в больницу с переломом шейки бедра, а тетя наотрез отказалась дать ключ от ее комнаты в коммуналке на Литейном. Это грозило катастрофой — без поездки в Питер очередной выпуск нашего тайного альманаха «День дна» не имел никаких шансов родиться. Это была больше, чем традиция, сложившаяся уже на первом курсе, — это был непреложный закон. В Питер — и никак иначе! Приближающаяся сессия нас не пугала, мы уже успели освоить азы общегуманитарного подхода к сдаче любого предмета, вне зависимости от массива информации и посещенных лекций. Саша Б. имел к тому же репутацию эрудита, победителя всех институтских олимпиад; помимо невероятного количества дат, имен, цитат и сюжетов, он знал, как незаметно направить внимание экзаменатора в нужное тебе русло, и успел нас этому научить. Была весна, в Москве зеленели деревья, набухали почки сирени, настоящие звуки и запахи весны еще не проснулись, но предчувствие их волновало не меньше. Май!

Дверь в нужную нам квартиру выходила прямо во двор — это мы поняли, когда свернули в арку. Во дворе громоздилась арматура, какой-то строительный мусор, пахло плесенью; в углу, рядом с обнажившейся кирпичной кладкой, тянулся к свету чахлый кустик сирени, едва успевший выбросить первые листочки. Нам открыла сонная девица, на ходу натягивающая футболку на голое тело. Мы сказали нужные слова. Она ничего не ответила и пустила внутрь. В полумраке мы увидели две незастеленные кровати, фортепиано, на котором алел разметавшийся шелковый халат с райскими птицами, огромную пальму, в горшке которой теснились переполненные окурками пепельницы, аккуратно сложенные в углу стопкой ноты, на них — недопитая бутылка виски из «Березки».

— Марго, еще четыре кофе, — крикнула девица (голос у нее оказался звонкий и красивый), — кидайте всё в прихожей, сейчас познакомимся.

Огромная рыжая тетка привезла откуда-то столик на колесиках, кофейник, буханку хлеба, из маленькой двери сбоку появилась еще одна девица очень маленького роста, ловко прибрала постель, превратив расхристанные лежбища в строгие диваны, оттащила наши рюкзаки в другую комнату и погрузилась в кресло по-турецки, закурила тонкую сигарету с мундштуком.

Хозяйку звали Крис, у нее были необыкновенной синевы глаза и красивые руки, она грациозно стряхивала пепел прямо на кусок хлеба — «яичница по-студенчески». Крошечная девушка, Верунчик, вместе с ней поступала в театральный; про Марго мы так и не поняли; все ждали какого-то Стаса, который должен скоро прийти и принести портвейн. Мы понемногу привыкли к полумраку — оказалось, самая большая комната не имела окон, свет попадал из кухни, люстры тем не менее не было, какие-то кривобокие торшерчики по углам не могли полностью преодолеть сумеречность обстановки, прокуренной так, что даже у нас привычных, как нам казалось, ко многому, скоро заслезились глаза.

Оказалось, дом, куда мы попали, — не просто аварийное жилье, подлежащее скорее сносу, чем реконструкции, но настоящий памятник истории, связанный с именем Пушкина, — пристройка особняка, в котором когда-то собиралось литературное общество «Сверчок», а в пристройке тогда жила прислуга. В советское время пристройку разгородили на несколько квартир и две комнаты дали перед самой войной деду Крис, энкаведешнику. В блокаду он расстреливал «врагов народа», людоедов и паникеров, был сам потом расстрелян и позже реабилитирован. Крис подливала в кофе остатки виски, говорила не останавливаясь: квартиру уплотняли, жили три семьи, все стукачи, мерзавцы, говорят, ели обессилевших детей в блокаду, бросали в суп живых мышей. Крис помнит, как ее

пугали, что сварят вместе с мышами, а мыши дергали лапками и пищали, когда их бросали в варево, так тоненько… Суки, суки!!! Она вдруг зарыдала, раскачиваясь, закрыв лицо руками, Марго бросилась ее успокаивать. Мы пошли гулять.

Наша компания — Майка, я, Саша А. и Саша Б. — возникла в первую неделю учебы как-то сама собой. С Сашей Б. мы когда-то занимались у одной репетиторши, Саша А. оказался его одногруппником; с Майкой разговорились под дождем у объявления с результатами экзаменов во дворе института и с тех пор не расставались. Может быть, потому, что мы все чувствовали себя немного чужими на курсе. Никто не видел себя будущим педагогом. Саша А. уже пытался поступить на филфак, не набрал баллов, лежал полгода в «Соловьёвке», получил диагноз, освобождающий от армии, но перечеркивающий путь в университет. Саше Б. мешал стать искусствоведом «пятый пункт»; Майкин отец-«цеховик» отбывал наказание. Меня убедила поступать в педагогический учительница литературы, точнее, ее подруга, переводчица и исследовательница Серебряного века из ИМЛИ. Она считала, что образование лучше получать там, где меньше пафоса и идеологии. Оказалось, что оба Саши также увлечены Серебряным веком, а Майка знает наизусть два собрания «Чтеца-декламатора», хранит дома подборку «Нивы» и первые издания Мандельштама, что бабушка ее, в прошлом машинистка, знакома с Лидией Гинзбург и ездила в ссылку к Бродскому… Мы с Майкой почти каждый день возвращались с занятий пешком — по Метростроевской, мимо Музея изобразительных искусств, Манежа, до проспекта Маркса. Иногда — до «Детского мира», иногда, наоборот, сворачивали раньше, на Арбат, петляли переулками…

Я жила у Савёловского вокзала, Майка — в Сокольниках; я — с родителями, Майка — с матерью и братом; обе — в малогабаритных, с крошечными кухоньками, «двушках», куда не торопились возвращаться. Куда интереснее было шагать по центральным улицам, повторяя

любимые строчки, делиться сомнениями, вместе пытаться понять таинственный мир новых взаимоотношений и себя самих… Я была тощая и длинная, сутуловатая; Майка — невысокая, пышногрудая, кудрявая, с огромными карими глазами, в грузина-отца, но нас называли сестрами, и мы чувствовали себя как сёстры, которых у обеих не было. Майка была немножко влюблена в «инопланетянина», равнодушного к женской красоте Сашу Б., я думала о Саше А., который то оказывал мне знаки внимания, то переключался на кого-то еще. И обе мы открыто и безнадежно любили Дрю, соседа Саши А., старше нас года на четыре, настоящего художника андеграунда, участника подпольных выставок, к тому времени уже отца близнецов, живущего в «открытом» браке с манекенщицей из Дома моделей на Кузнецком.

Он нередко стрелял у Саши сигареты, рубль или два, иногда просил приглядеть за близнецами, когда нужно было днем отлучиться — в это время жена и теща были на работе. У него собирались необычные люди: художники — от них веяло свободой в одежде, в манерах, в словах; тут иногда читали вслух «Москву-Петушки» и «Чонкина», обсуждали акции «Коллективного действия», формулировали основные тезисы нонконформистских манифестов… Мы отрывками слышали, но жадно впитывали всё. Нас влекло в этот мир неодолимо. Дрю великодушно не гнал нас, просил время от времени помочь по мелочам, чему мы были несказанно рады. Как-то он сказал, что мечтает изобразить маслом двух «голубых» в поцелуе на воротах школы КГБ или на стене российского посольства в Америке, и чтобы над их головами клубились вороны.

Вороны были его коньком. Самый знаменитый его холст — выставлялся несколько дней на Грузинской, откуда, впрочем, его быстро убрали, — назывался «Воронье гнездо». И мастерская была заполнена вороньём в разных видах — стаи над городом, воронята на детской площадке выклевывают глаз у ребенка, вороний глаз над картой СССР; ворон, утаскивающий невесту из церкви…

Для нашего тайного журнала он придумал обложку — точнее, сама идея возникла благодаря Дрю, который, как обычно, меланхолически вращая в невыразимо красивых пальцах зажигалку, проговаривал какие-то мантры, настраиваясь на очередную работу — помнится, тогда у него был заказ на коллаж для «Сельской молодежи» по случаю очередного Дня рождения комсомола. Он считал, что «видения» — так он называл свои абстрактные эксперименты — важно «пробормотать», тогда вылетевшие слова и звуки оживут и визуализируются. «День дня, — бормотал он, — без дня, день бля, день блю, день блин, день дня, день дна, без дна, день дна…»

— А что, «День дна», по-моему, ничего?

Мы радостно согласились. Дрю был кумиром нашей компании, милостиво допущенной в святая святых. А вы тут — он обратился к нам четверым, привычно распределившимся на табуретках в мастерской, — об этом напишете в разных жанрах. И набросал эскиз: вороны летят в трубу, она изгибается вниз, как колено в раковине, внизу — пустота. Через неделю мы все, не сговариваясь, обменялись рукописями: Саша Б. написал рассказ об искателях Атлантиды, погружающихся в океан, гибнущих один за другим, но так и не достигших затонувшего мира; Саша А. — эссе о поэтике падения в «Петербурге» Андрея Белого; Майка — стихи о Черубине де Габриак; я — набросок о неудавшемся самоубийце-подростке… Так родился неподцензурный журнал «День дна», который стал центром нашей тайной жизни, заполняя дни и ночи почти два года. Это было не просто приключением, спасающим от душной действительности, навязчивой тоски обязательных предметов и тошнотворной пропаганды, — но истинным убежищем.

Мы вчетвером прошли по намеченному маршруту: Исакий — Петропавловка — Русский музей (выставка Ларионова, увы, закончилась) — Фонтанный дом — книжный; остановились в любимой пирожковой на Невском и направились назад на Фонтанку. Крис, распахнувшая дверь,

сказала заплетающимся голосом: «А всё-таки Топ и Мокасей — это один и тот же!» — и упала в объятия Саши А.

В комнате бурлила жизнь. Мы втиснулись на диванчик у входа. Рыжий парень (как оказалось, тот самый Стас, которого ждали утром), не вынимая сигарету изо рта, пел Галича. Вскоре Саша Б. перехватил инициативу, взял гитару. «Пилигримы». Всеобщий катарсис. Наполнение стаканов. И тут — тут вошла она. Точнее, они. Тонкая, как свечка, девица в узеньком джинсовом комбинезоне и крошечной белой кофточке с короткими рукавами, белокурый венчик волос а-ля сессон и невероятные совершенно прозрачные светлые глаза; за спиной у нее материализовался бритый бугай. С их появлением что-то изменилось в пространстве. Саша Б. поперхнулся на полуслове. И все прочие как будто остановились, выдохнув на минуту, освободив пришедшим место. Они примостились на пуфике рядом с нами, девушка благосклонно приняла стакан портвейна, аккуратно снимала пятерню спутника со своего бедра, сопровождая это великолепной улыбкой, кивала в такт исполнению Саши Б., который смотрел на нее оловянными влюбленными глазами, как, впрочем, и все. Бугай рядом с ней по мере повышения градуса всё активнее пытался обнять ее, и она всё так же аккуратно снимала его пятерню с себя, внимательно прислушиваясь к обрывочному разговору. Что-то из сказанного Сашей А. ее заинтересовало, она неожиданно стала читать Софию Парнок низким глубоким голосом. Бугай стал тянуть ее в соседнюю комнату, кричать, что он заплатил заранее. Ему вмазали, он утих.

— Может, покурим? — предложила Натка (мы уже знали, как ее зовут).

Началось броуновское движение: Наткиного бугая утянула в соседнюю комнату Марго, Верунчик забивала в папиросы траву, откуда-то возникла крупная финка Арья в мексиканском пончо, Натка уже сидела у нее на коленях, народ приступил к употреблению. Я никогда не курила марихуаны. У меня не получалось.

— Я тебе вдую, не бойся, — Крис приблизилась ко мне. — Вдыхай! — и я отключилась. Последнее, что помню, — Натку в ореоле золотых волос, она смеялась и не могла попасть в рукав, кажется, они с Арьей куда-то уходили.

Очнулась я на лавочке, болело всё, было холодно, в голове катался раскаленный шар. Саша А. держал мою руку, сказал, что я блевала всю ночь и пыталась от кого-то отбиваться. На соседней лавочке лежала свернувшаяся клубочком Майка, Саша Б. дремал сидя. Мы побрели назад, на Фонтанку.

Оказалось, что мы ушли оттуда вовремя: вечером нагрянула милиция, не из-за марихуаны (она быстро закончилась), а из-за Стаса — он накануне помочился на советский флаг в «Сайгоне», как будто в знак протеста против вторжения в Афганистан. Стаса повязали, у всех переписали документы, про нас никто не вспомнил. Крис собиралась в милицию, в строгой блузке и узкой юбке очень походила на учительницу младших классов. «Это было хулиганство, чистое хулиганство, — репетировала она. — Но в «Сайгоне» перепутали. Я должна им всё объяснить. Они поверят». Выяснилось, что она знакома с начальником отделения («хороший мужик, но важно прийти и всё уладить»).

В квартире ничто не напоминало о вчерашнем, даже запах марихуаны выветрился. Мы сели пить чай, после него сморило, я заснула в кресле.

Проснулась от того, что читали стихи. Точнее, читал Саша Б., голос у него немного дрожал, чего никогда раньше не случалось. Он читал Бродского — Натке. Та сидела по-турецки на диване не шелохнувшись, вытянув длинную шею, на которой пульсировала голубая жилка. А Саша Б. смотрел на нее так, как никогда не смотрел ни на кого, и читал безостановочно — одно стихотворение за другим, как будто боялся остановиться или боялся, что Натка исчезнет. Он не заметил, как я поднялась и на цыпочках вышла из комнаты.

На кухне Крис считала доллары, толстую пачку, делала какие-то заметки. Доллары я видела раньше только в кино.

— Всё в порядке? — спросила я. — Со Стасом?

— В порядке, — Крис сложила пачку в конверт и спрятала среди пакетов с крупой на полке. — С этим (она кивнула на конверт) всегда будет в порядке, — и зло засмеялась. Крупу она копила на передачу мужу в колонию.

Ночью, засыпая на полке плацкартного вагона «Красной стрелы», Саша Б. буркнул: «Следующий «День дна» будет о Прекрасной Даме».

Наверное, то был лучший наш выпуск. Майка погрузилась в творчество Софии Парнок: в литературном журнале только что напечатали ее переписку с Цветаевой, и Майка написала венок сонетов. Саша А. писал послания к Прекрасной Даме; я — диалог с ней обычной современной девушки; Саша Б. — огромный трактат о Лолите, нас всех поразивший... На обложке он нарисовал символический портрет Натки. Работа заняла месяца полтора, всё это время мы без конца говорили о Натке, о криминальной среде Питера, о материализующихся в питерском тумане мифах прошлого, о невозможности счастья... Мы все незаметно влюбились в нее, точнее, в тот образ, который придумали.

— Ты думаешь, она берет деньги за секс? — спрашивала как-то Майка, когда мы курили на ее кухонном диванчике под радиатором. Майкина мать курила, так что дыма было нечего опасаться. — И с мужчин? Или с женщин? Скажи, а ты могла бы полюбить женщину?

Я не знала. Я думала о том, что Саша А. не ночевал дома и не пришел на лекции.

Работа над номером заняла месяца полтора, помешала сессия; за это время образ нашей Прекрасной Дамы обрел некую монументальность, отрешенность, мы пытались снова поехать в Питер, но получилось только у Саши Б. Наш роман с Сашей А. после второго курса наконец

увенчался совместным проживанием в квартире родителей, уехавших в отпуск.

Проснувшись рядом со мной после первой официальной совместной ночи, Саша А. блаженно потянулся, и сказал:

— Знаешь, что мне снилось? Что ты, я и Натка, все вместе, вот так…

И, заметив мое лицо, застыдил: — Ведь мы же должны всё друг другу откровенно рассказывать?

Вернувшийся из Питера Саша Б., осунувшийся, измученный, рассказал, что видел Крис, даже встречался с ее свекром — профессиональным картежником; что муж Крис сидит за мошенничество и чуть было не загремел за валютные махинации, но вовремя кого-то сдал и откупился; что у Крис есть маленькая дочка, а Натка — ее кузина, безотцовщина: мать умерла, опекун-дядя заставил ее спать с ним, когда ей было всего двенадцать, она пыталась посадить дядю, но сама попала в детский интернат для малолетних преступниц, не смогла, как и Крис, поступить в институт, работает секретаршей в райисполкоме.

— И никакая она не лесбиянка, — завершая рассказ, заметил он.

— Ты уверен в этом? — недобро прищурясь, спросил Саша А.

— Совершенно, — гордо ответил Саша Б. и покраснел. — Она такая… Я ее спасу! — почти прокричал он. — Я смогу!

Вечером Майка рыдала у меня на кухне, размазывая тушь по щекам.

— Я ее ненавижу, слышишь, ненавижу, я готова ее убить! Это всё из-за нее! Ненавижу!

— Я тоже, — тихо вдруг сказала я.

Наш «День дна», как и наше восхитительное братство-сестринство, как и всё наше затянувшееся полудетство-полуюность, закончились враз и страшно.

Перед самым Днем рождения комсомола на курсе вдруг созвали внеочередное собрание. Начальник курса Иван Андриянович Дёмин подготовил зубодробительную обличительную речь против пособников империализма и сионизма. И главным героем ее стал Саша Б.! А также наш альманах. Дёмин, а вместе с ним парторг Бажов, маленький плотный человечек незапоминающейся внешности, в роговых очках, которого боялись все, включая преподавателей, руководили собранием. Дёмин говорил что-то немыслимое о том, что пока наши комсомольцы выполняют интернациональный долг в Афганистане, вражеская разведка не дремлет и совращает незрелые умы, что сионистские эмиссары завербовывают молодежь, снабжая подпольной порнографической литературой, и на нашем факультете завелся рассадник. «Самиздат! Декадентские штучки! «Лолита»! Питерские проститутки и марихуана! Прославление распада и сексуальной вседозволенности! — кричал он. — И кто? Тот, на кого мы надеялись, кому оказывали доверие! Оказывается, подвергается дискриминации и уезжает в Израиль!»

Бажов кивал и записывал. Комсорг курса, давняя поклонница Саши Б. Зинка Быстрицкая, выскочила на трибуну, оттарабанила что-то о позоре и предательстве и предложила исключить Сашу Б. из комсомола. Кто-то спросил насчет самиздата, тогда довольный Бажов достал тетрадку и стал цитировать из последнего «Дня дна», как раз эссе о «Лолите».

— Но этого мало, — сняв очки, добавил он. — Агенты влияния склонили к сотрудничеству неокрепшие души сокурсников, как выяснилось. — Майя Хакабадзе, дочь, между прочим, расхитителя социалистической собственности, пишет об однополой любви, вот ее стихотворение «Белая птица», чистый декаданс. И это будущие педагоги? Воспитатели советских школьников? — он строго окинул взглядом аудиторию. — Не пройдет!

Саша Б. сидел белее полотна. Майка закрыла лицо руками. Аудитория потрясенно молчала. Саши А., как я заметила, вообще не было.

— Исключить обоих из комсомола — вклинилась Зойка. — Голосуем! Все за? Кто хочет высказаться еще?

— Я хочу, — я подняла руку.

— Алина Иванова, знаем вашу бабушку, отличника народного образования, старую большевичку, хорошие семейные традиции, скажите, — одобрительно кивнул Бажов.

— Я против исключения. Я не считаю, что гордость курса Саша Бродский — враг и отщепенец, он талантливый человек. И он не хочет ехать в Израиль с родителями. И даже если бы хотел, — я не знаю, что на меня нашло, — родители родителями, но это не всё значит. Моя бабушка, первая комсомолка и даже пионерка, вышла замуж за сына управляющего шахтами Михельсона, лишенца, он был инженером во время Шахтинского дела, и его бы расстреляли ни за что, если бы не брат бабушки — он работал в НКВД. Оказалось, дедушка ни при чём, он честно работал, всю жизнь был примерным коммунистом, получил ордена. А другой брат бабушки, герой войны, он вообще женился на вдове белогвардейца и воспитывал ее дочь, которая прошла всю войну зенитчицей и сейчас, между прочим, супруга помощника Машерова. Всё решает сам человек! Саша — наш товарищ, он не хочет уезжать, он сделает славу нашей стране еще, он, наконец, может кого-то спасти! Не нужно его исключать!

Я почти кричала и видела, как кривятся лица парторга и начальника курса, Зойки, как подняла лицо Майка, как происходит какое-то движение в аудитории…

Собрание перенесли.

— Кто всё-таки нас сдал? — спрашивала меня потом Майка. — Неужели он? И почему его не было? — она говорила о Саше А. — Почему?!

Через два месяца я вышла замуж за молодого журналиста-внештатника Мишу, студента мехмата, который

пришел к нам собирать информацию для статьи в «Московский комсомолец» о нашем разгроме. Статью так и не напечатали, но мы подали заявление в загс через неделю после знакомства. Началась совсем другая жизнь. Сашу Б. всё же исключили, правда, не из комсомола, но из института. Саша А. стал секретарем комитета комсомола на общественных началах и готовился к свадьбе с Зойкой. Об этом рассказывала Майка, но мы с ней мало общались: я ушла в академку из-за трудной беременности, а она тоже выскочила замуж, за курсанта училища погранвойск, и уехала на окраину Москвы. Потом — кажется, куда-то в восточную страну, вместе с мужем.

Через восемь лет после рождения второго сына мы отпросились у родителей и рванули в Питер — у мужа там была конференция, в которой впервые российские аспиранты участвовали вместе с западными молодыми учеными.

На Невском, совсем недалеко от Гостиного двора, мы нос к носу столкнулись с парочкой — пожилой господин с повадками эмигранта первой волны, с тросточкой, и хрупкая блондинка в шляпе с широкими полями, в темных очках. Она сняла очки и — бросилась мне на шею. Это была Натка. Она почти не изменилась, только тонкие неуловимые морщинки появились вокруг губ. Мы пошли вместе в «Асторию», потом гуляли по Летнему саду, пока у спутника Натки не отказали ноги, потом транспортировали их назад в отель… Всё это время Миша наблюдал за ней, и я видела, как меняется его взгляд.

— Мне кажется, твоя знакомая скоро погибнет, — сказал он мне в гостинице, когда мы раздевались. — Не знаю, от наркотиков или от чего-то еще. Жаль.

Я вдруг поняла, как просто желать кому-то смерти. И ужаснулась себе. Это был 1999 год.

Совсем недавно по «Фейсбуку» я получила запрос. Некая Майя Гонзалес из Оклахомы хотела со мной задружиться и спрашивала, помню ли я «День дна» (Day of Hell).

Это была Майка. Она приезжала в Питер с группой миротворцев и строителей новых мостов между народами России и США, основанной еще в годы холодной войны, и приглашала меня выступить спикером. Я, конечно, согласилась, и мы встретились. Майка почти не изменилась, полнота не в счет — те же сияющие глаза, кудри и горячий нрав. После заседаний мы пошли гулять по нашим старым местам, почти неузнаваемым — новые вывески, новые знаки. На памятной арке дома на Фонтанке — кодовый замок и знак известного банка. Никакой возможности заглянуть во дворик, нам памятный.

Мы пошли в ресторан «Астория» поминать друзей.

Саша Б. стал известным исследователем, искателем Атлантиды, получил международное признание и умер от инфаркта в Испании во время съемок очередной программы несколько лет назад. Саша А. стал известным филологом, издателем лучших книг по Серебряному веку и умер из-за врачебной ошибки через полгода после Саши Б., в самом расцвете своей карьеры. С Зойкой он развелся, но не успел оформить бумаги, так что всё наследство досталось ей. С Сашей Б. они так и не успели примириться. У Саши Б. есть дети в Израиле. А Натка, сказала Майка, она умерла давно, в 1999-м.

— Пойдем к ней? — предложила она.

И мы отправились.

Мы шли по кладбищу, мимо памятников известным и неизвестным, мимо могилы Ксении Петербургской (Майка шагала уверенно и целеустремленно — откуда она знала путь?) и прибрели наконец на место. Строгая стела и фотография в стандартном эллипсе: смеющаяся Натка в костюме Арлекина, красно-желто-синие панталоны, красочный колпак, широта жеста и — радость и счастье, хлещущие через край…

Кто сделал этот памятник? Почему мы её такой никогда не знали?

ЗИНА И ЭТИЧКА

Ровно в половине девятого вечера, в любую погоду, гололед или жару, они появляются на Украинском бульваре, идут сначала по периметру, потом наискосок по выложенным плитками дорожкам, мимо круглого мостика над несуществующей рекой, мимо бронзовой Леси Украинки с книгой в руке, временами устремляются через дворы в боковые улицы — Малую Дорогомиловскую или Первую Бородинскую и снова возвращаются на бульвар, вышагивают кругами. Одна — высокая, с прямой спиной и поднятым воротником когда-то модного пальто, беретка, полуседая челка; другая — кругленькая, в разноцветных жакетках, оборках, шляпках и неизменной пестрой шали, заколотой на плече огромной брошкой, семенит, стараясь не отстать, а спутница замедляет поступь. Прохожие их обгоняют. Иногда можно услышать, о чём они говорят.

— Этери, ты снова вышла на каблуках, у тебя же вчера еще разгулялся артрит, — голос низкий, строгий. — Почему не надела «экковские» кроссовки? Мы их с тобой покупали еще осенью.

— Ну, Зинуля, не сердись, у меня и не болит почти, сегодня с утра точно не болело, и потом, понимаешь, вдруг я иду, и мне навстречу, вот прямо тут на бульваре… Я же должна быть на высоте!

— Кто тебе навстречу?!

— Мужчина!

— Какой тебе мужчина? Вон к тебе Мавританыч выдвинулся.

С лавочки тяжело поднимается благообразный бомж в потертой дубленке: рукава коротки, фетровая шляпа с пером, степенно приближается, приветствует полупоклоном.

— Мадам, бон суар!

— Мавританыч, садись, садись, засуетилась Этери, вот я тебе кое-что на ужин, — снимает с плеча сумку из кожаных лоскутков, достает, как фокусник из рукава, баночки, пластиковый контейнер и полупустую фляжку коньяка.

— Чахохбили без перца, тебе нельзя. Салат. Лобио немножко.

Бомж внимательно рассматривает фляжку.

— Армянский.

— Мишико принес. Тебе нельзя, я знаю, но немножко можно.

— Мерси, мадам, — он подносит два пальца к воображаемому козырьку, — матросы всех прибрежных пабов будут пить ваше здоровье!

Мавританыч (он по паспорту Иннокентий Маврикиевич) когда-то плавал на торговых судах в Индокитай механиком, попался на валюте, оказался крайним. Пока сидел, жена с ним развелась и привела нового мужа, но выписать из ведомственного кооператива не смогла. Он и до сих пор прописал в «двушке» бывшего внешторговского дома, где живет семья нового сына жены с тещей из Ижевска. На бульвар сбежал из интерната, куда его определили родственники после микроинсульта. В холодное время ночует в комнате для инвентаря под мостиком, старшему дворнику платит за это половину пенсии. Мавританычем его первой назвала Этери, и прижилось. Няни, гуляющие с колясками, дворники, рабочие, регулярно снимающие и вновь кладущие плитку, крошащуюся дважды в год, приносят ему вкусненькое, иногда он сам просит сходить за него в супермаркет зарядить телефон и купить кое-чего и, выпив глоток, рассказывает про дальние страны и морские будни. Чаще всего он сидит на лавочке, зимой и летом в засаленной дубленке, кормит голубей, смотрит на опадающие листья или пробуждающуюся траву и тихо что-то напевает...

— Как твоя Сулико? — вступает в разговор Зина.

— Оклёмывается, — вздыхает бомж, — желчный вырезали вчера, скоро обещают выписать, звонила утром. После отбоя обещала снова позвонить. Он достает из кармана мобильный телефон, довольно новый, подарок, смотрит на экран. — Еще полчаса.

Сулико — туркменка Зулейха — прибились к Мавританычу года два назад, ускользнула от депортации на родину за нарушение режима регистрации. Сыновья ее уехали на Украину и в Литву, раз в несколько месяцев дают о себе знать, а с тех пор, как Мавританыч купил ей телефон, и позванивают, но нечасто. Чтобы отправить ее в больницу, когда случился приступ холецистита, Мавританыч взял напрокат паспорт помощницы дворника в счет будущей пенсии. Пенсию он получает на карточку, успел завести еще до отправки в интернат.

— Привет ей передавай, скажи, когда вернется, я ей чихиртму принесу, ей полезно, — застегивает сумочку Этери. Она готовит еду специально для бомжей, покупает на Дорогомиловском рынке у грузин правильные приправы, знает, что у Мавританыча гастрит, а у Сулико желчный, старается не переборщить со специями. Но никогда не признаётся, даже Зине. А та не спрашивает никогда.

— Передам, мадам, в лучшем виде! Оревуар!

Он приникает к коньячному горлышку и через минуту мурлыкает:

— Мадам, уже падают листья…

Зина шагает дальше.

— Значит, Мишико вчера приходил? — спрашивает Зина.

— Да нет, звонил только. Предложили новую роль, в сериале.

— Снова стриптизера?

— Бармена в клубе. Сериал называется «Рай», сценарий ему не очень нравится, но покажут по большим каналам. Надо соглашаться.

— Ты посоветовала?

— Конечно. Для артиста главное — быть в обойме, когда-то выгорит и настоящая роль.

— Вика что?

— Вика, а что Вика? Ей главное — бабло и чтобы ее картинки были на выставке! И сама на вернисаже, как Барби с губами надутыми, силиконовая кукла. Тьфу! Другие жёны стараются для семьи заработать, а эта только краски изводит, муж и сын — пустое место! — Голос ее задрожал: — Мерзавка просто. Тварь намалеванная!

— Этя, Этичка, ну успокойся, дорогая, прошу, не надо так…

— Я ее ненавижу! Ненавижу всеми фибрами, никогда никого так не ненавидела, даже драть Нинку, разлучницу, даже нашего директора-ворюгу… Как жить, Зинка?

— Ну, Этичка, она же мать твоего внука, Мишико ее любит, не заводись.

— Дурак он! Как отец его был дурак, только в другом! Тот гулял и деньгами сыпал, а этот в стриптиз пошел, чтобы ей мастерскую снять, Барби… Как жить, — всхлипывает, — как жить? Я бы ей всю морду расцарапала, но боюсь, к маленькому не подпустит, волчица…

— Успокойся, прошу тебя, дорогая, нервные клетки не восстанавливаются, ты внуку нужна, он будет тебя защищать, подожди еще годков десять, вот увидишь.

— Дожить бы… — Этери достает батистовый платочек с вышивкой, старомодный, тщательно вытирает слёзы, потекшую косметику. — Доживу, вот увидишь! Ей назло! — Топает каблучком о плитку, разлетаются брызги грязи, в лужу попала каблуком.

Идут рука об руку, каждый вечер, в любую погоду…

Иногда обсуждают политические новости — горячо, спорят — отчаянно.

Зина работает в архиве жертв репрессий, ходит на пикеты, собирает вещи для заключенных, в курсе всех событий:

— Вчера у Любы был снова обыск, ворвались в шесть утра, все домашние спят, ребенка разбудили, она сама в

ночной рубашке четыре часа стояла, взяли у всех мобильные телефоны и компьютеры. Потом вернули. Не извинились. Запугивают. Всё равно не запугают, зря стараются…

— Как ты думаешь, художников тоже будут обыскивать? У Вики в мастерской хранят свои плакаты «Синие носы», кажется, даже Павленский, они когда-то вместе выставку делали…

— Не бойся, до нее не скоро очередь дойдет. Есть кого хватать.

— Ты думаешь, начнутся репрессии, как раньше? — волнуется Этя.

— Не начнутся, кишка тонка. Но крови попортят, это точно…

— Как, кстати, Нинон?

Зина недовольно поджимает губы, морщится, даже поднятый воротник, кажется, выражает неодобрение:

— Как обычно. Дает уроки ворам и жуликам за хорошие деньги. Совершенно беспринципная. Променяла чемпионскую ракетку на домик у озера. Съемный. Картонный. Из папье-маше.

— Всё-таки озеро — Женевское, вдоль него Ленин с Троцким гуляли.

— Еще скажи, на одной шинели спали, напившись пива, когда узнали о революции. Теперь над озером, на горке, за забором виллы даже крыш не видно, один дым из каминов зимой. Рядом шейх-убийца, вор в законе и сын прокурора, который вора сажал, беглые олигархи и западные зоозащитники, все ладят по-соседски, налоги платят. Эксплуататоры! Мерзавцы! — голос ее звенит.

— Набоков тоже уроки тенниса давал, вспомни, Зинуля!

— Набоков никогда не был бронзовым чемпионом Европы среди юниоров. Совести у нее нет. И у мужа тоже. Швейцарец! Нет такой нации, и история у них вся гнилая, лицемерная, только деньги у всех на уме. Потомкам сожженных евреев деньги отдали? Усамы без Ладена! Им всё равно откуда и как. Недавно Нинкин сосед провел экс-

перимент — пошел с миллионом наличных в кейсе по банкам, с улицы. Уже в третьем ему пошли навстречу, наплевав на все законы и правила. Положили на счет. Демократы! Сила закона! Вот их верховенство закона!

— Женева красивая?

— Скучный город. Собор хороший, музеев мало, одни гостиницы да бутики. Часы и ножи, шоколад невкусный. Сыр так себе. Сыр в Италии, во Франции — это да… Дороговизна. Наши за продуктами подешевле ездят во Францию. Некоторые знакомые там и живут, приезжают на машинах на работу. Цитадель глобального зла.

— Не собираются приехать?

— Третий год собираются. Не тороплю. Захотят — приедут.

Зина осуждает дочь и внуков, не надеется дождаться. Переживает, но никогда не признаётся.

Дочкину квартиру, точнее, свою, полученную в период собственного спортивного успеха, когда вошла в десятку лучших лыжниц Европы, сдает; деньги ей каждый месяц отправляет. Сама вернулась в родительскую «распашонку» на Большой Дорогомиловской, в которой выросла. Все соседи уже другие, кто уехал далеко, кто продал квартиру, или дети продали, всё не то.

И Этя вернулась в район своего детства — поменялась в соседний со своим дом на Брянской — после развода. С сыном и невесткой под одной крышей жить не смогла. Устроилась в детский сад музработником.

— Санька Певцов умер, в «Фейсбуке» прочитала. Ковид. Я его на фотографии не узнала, страшно растолстел. Похоронили уже.

— Одиннадцатый уже? Ты кого-нибудь из наших давно слышала?

— Федька открыл группу в «Ватсапе». Все постят кошек-собачек и внуков. Стали старые и страшные. Некоторые ребята на молодых женились. Пока решила не светиться. Присматриваюсь.

— Расскажи, если будет что-то интересное. Мне пока тоже некогда. Конференцию готовим к лету, семейная память. Жаль, что Чайкина умерла, у нее была шикарная бабушкина переписка, мы читали тайно; теперь узнать не у кого. Писала деду на фронт, потом в лагерь, он отвечал и в каждом письме говорил, как ее любит, и всегда по-разному... Теперь так не пишут...

Кто из них первым переехал сюда? Кажется, Зина, когда дочка осталась после очередного чемпионата в Швейцарии, Зину не поставив предварительно в известность, что она помнит до сих пор. Или Этичка, каждый раз вытирающая украдкой слёзы, когда они проходят мимо кирпичного здания своей бывшей школы, где теперь индийский интернат и вокруг неприветливые серо-стеклянные офисные здания?

Зина и Этичка — неразлучная парочка, самая известная в школе на Малой Дорогомиловской. Обе пришли туда, на «Малышку», в шестом классе, сидели за одной партой, даже когда их пытались рассадить, ухитрялись под разными предлогами снова соединиться. И уроки делали вместе: у обеих малогабаритные квартиры; пока родители на работе, забивались на диван у Зины или валялись на подушках на ковре у пианино у Эти, вместо учебников часто читали вслух стихи (Этя мечтала о театральном) или приключенческие романы, а то и что-то неподходящее школьницам, вроде «Психологии семейной жизни», и мечтали, мечтали... О том, как будут жить после школы, как вырастут дети — Этя хотела мальчика, и еще мальчика, кудрявых, музыкантов, как ее дядя, аккомпаниатор Москонцерта... Ещё мечтали об Олимпийских играх — Зина с детства ходила в спортивную школу, занималась лыжами.

Учились обе скорее хорошо, но Зине лучше давались история (она иногда ставила учительницу в тупик вопросами) и математика, а Эте — литература. Контрольные они беззастенчиво делали сообща.

Лед и пламень — однажды назвала их литераторша. Дон-Кихот и Санчо Панса — дразнили в седьмом классе, когда Зина после каникул вымахала на десять сантиметров, стала первой по росту, оставив позади мальчишек, а Этина приземистая фигура приятно округлилась, чего она страшно стеснялась и из-за чего комплексовала.

Зина — резкая, прямая, командирша — наставляла подругу, как одеваться (ну зачем эти вечные бантики, рюшечки?), как готовиться к урокам, как шнуровать спортивные кеды, мучила, заставляя крутиться на брусьях и подтягиваться на канате не хуже любого физкультурника. Этя терпела, глотая слёзы, но не перечила. Подруга же, она ведь не со зла. Этя, вообще бесконфликтная, мягкая, всегда старалась скруглить, загладить… Угол и овал, сказал про них школьный поэт.

Друг без друга не могли ни дня, даже на каникулах стремились быть вместе, Зина уговорила родителей летом поехать в гости к Этиной бабушке в Пятигорск, а зимой — к двоюродному брату в Батуми. Разлучались только на Зинины сборы.

— Трудно будет вам, девоньки, замуж выйти, — качал головой Этин отец, — вам так вдвоем хорошо, что и семья не нужна.

Посмеивались, бывало, над ними, над их неразлучной дружбой и подростковой неуклюжестью. Но когда Зина заняла первое место в московской эстафете, в потом попала в юношескую сборную и получила бронзовую медаль в Чехословакии, а Этери аккомпанировала на детском концерте в честь XXV съезда КПСС и ее показывали по телевизору, всё изменилось. Обе, точнее, вместе, они вдруг стали звёздами школы. Не только их параллельные девятые, но и десятиклассники вдруг их заметили: все девчонки хотели с ними дружить, и самые видные мальчики оказывали знаки внимания. Сын монгольского дипломата Суренжавен Энхбаяр стоял перед Этей на коленях прямо в актовом зале на репетиции, умоляя стать его девушкой, а Зине подарил джинсы (неслыханная щедрость!)

жгучий Нандо Санчес из выпускного, его отец был боливийским военным атташе. В школе на «Малышке» учились из иностранцев только самые отъявленные разгильдяи, более приличные дети из анклава УПДК на Кутузовском проспекте посещали школы при американском посольстве или хотя бы престижную английскую возле гостиницы «Украина»…

На вечерах, где крутили скрипящие и плывущие записи из «Крестного отца» и «Генералов песчаных карьеров», у подруг теперь не было отбоя от кавалеров.

Но обе влюбились враз в одного — в новенького (появился уже в середине десятого класса), полусерба Дранко, брутального блондина с классическим профилем и пронзительными синими глазами. С ним они по очереди потеряли невинность вскоре после выпускного, забыв о подготовке в вуз, и плакали, обнявшись, когда он уехал к отцу в Белград, обещая писать обеим, да так и не написал.

Замуж вышли практически одновременно: Зина — за товарища по сборной, Этя — за преподавателя музыкального училища, и родили в один год. Потом жизнь закрутила, переезжали, разводились, снова выходили замуж, и опять не слишком счастливо, растили детей, хоронили родителей… Второй Зинин муж, горнолыжник, разбился на неудачном склоне, а первый Этин умер от сердечного приступа на даче с новой женой, не дождавшись приезда «скорой». Жили в разных концах Москвы, перезванивались редко, случалось, не виделись по году, а то и больше.

Однажды, вскоре после крымских событий, Зина позвонила подруге.

— Знаешь, я видела Дранко на приеме в офисе ООН, в День защиты прав человека. Он теперь работает в ОБСЕ, приехал с миссией по торговле людьми. Меня не узнал, и я не стала подходить.

— «Жизнь упала, как зарница», — эхом отзывается Этя, — Серёжа Шкаликов пел, помнишь, мы на спектакль его еще ходили в «Табакерку»? Я ведь в него влюблена бы-

ла в училище, но он на другой женился… Сколько лет уже и Серёжи нет…

— Это Мандельштам. А как будто вчера всё было… Надо же, Сергей Шкаликов приезжал к нам с театром в Спорткомитет, помню… В него все наши девчонки тогда влюбились, и даже Роднина…

С тех пор Зина и Этичка стали снова созваниваться ежедневно, а вскоре и совсем приблизились друг к другу, перебравшись в знакомые с детства места.

Первый раз они вышли на прогулку — прямо к школе. Но в последующие дни, месяцы и годы к ней обычно не подходили. Ничего не напоминало о прежнем, и весь район стал неузнаваем: на месте бараков у Киевского светился рекламой «Макдональдс»; на привокзальной площади, неизбывно грязной, заполненной горластыми цыганами, торговками семечками и бог знает чем, киосками с сомнительными пирожками и всяким подозрительным людом, сверкал огнями навязчивый торговый центр и бил фонтан. Только носатые торговцы цветами, зазывающие в скучные лавки, сменившие вольницу знаменитого рынка, напоминали о том, что криминальный дух окончательно не выветрился и, помимо цветов, тут можно купить всё остальное.

Зина и Этичка дружно осудили произошедшие перемены и, не сговариваясь, решили ознаменовать воссоединение ритуалом — ежевечерним моционом. Не по Кутузовскому, сохранившему внешние очертания, но непоправимо утратившему былую интонацию, не в помпезном пространстве у гостиницы «Украина» (теперь «Рэдиссон»), где когда-то школьниками стояли, задрав головы, и наблюдали за распускающимися гроздьями салюта и потом собирали гильзы у стоявшей за памятником Тарасу Шевченко установкой. Нет, выбор пал на Украинский бульвар, обезображенный, конечно, истуканом — аляповатой фигурой «письменницы» — и прочим претенциозным скульптурным новоделом, но таящий в глубине еле уловимые проблески былого. Бывший дом сотрудников Вне-

шторга, где до сих пор прописан Мавританыч, был всё тот же. Знаменитый «Художественный салон», место встречи перекупщиков антиквариата и валютчиков, ушел в небытие, на его месте топорщились продуктовый бутик, демократическая аптека, еще более демократическое интернет-кафе, зубная клиника, эта эклектика радовала глаз. Что до самого пространства и растительного мира сквера — они были по-прежнему прекрасны: неотвратимое перекладывание плитки и бордюров, из-за чего приходилось периодически менять маршрут, прыгать по досточкам, пачкаться в грязи, не могло испортить впечатления. Деревья и кустарники, тщательно постриженные дворником и его семейством, дарили прохладу летом, упоительные запахи — весной и щедро осыпали роскошным многоцветием листвы осенью. Тюльпаны, анютины глазки и маки на клумбах напоминали о тех днях, когда они по очереди выходили сюда на свидание и сгорали от страсти, ревности и сестринского сочувствия одновременно.

Трое мальчиков из их и параллельного классов (классы были тогда большие, в общей сложности 78 человек гуляли на выпускном!) погибли в Афганистане, четверо умерли от водки и стресса в 90-е, одна девочка сошла с ума, одна утонула, двоих погубил рак… На встречи выпускников обе не ходили никогда.

— Ты боишься старости, Зина?

— Чего ее бояться? Она как зима, не спрячешься. Главное — чтобы на ногах и при памяти.

— А я боюсь… Боюсь совсем сморщиться, боюсь, что шейка бедра сломается, что крыша поедет, как у бабушки…

— Ну, Этя, ты неисправима, — гнусавит Зина. — Движение и еще раз движение! Сладкого не есть! На ночь — рот на замок. Ты же знаешь!

— Да, — покорно соглашается та. — Но не могу удержаться, весь день стараюсь, а перед сном такая тоска иногда нападет, пока не съем пирожное, не засну. Пробовала.

Пирожок — лучше таблетки, вчера съела, себя проклиная, а спала как младенец, до восьми…

— И потом, срок жизни увеличился вдвое — те, кто сегодня в школу ходит, будут жить до ста лет, наука говорит. Британская.

— Я не хочу до ста!

— Этя, Этя, пусть не до ста, до девяноста. Надо больше шевелиться! Вот что ты снова ноги волочешь? Надо выше колени поднимать и спину прямее, вот так…

Они удаляются, продолжая разговор, высокая и прямая, и маленькая, кругленькая, в смешной накидке, стянутой брошкой… Зина и Этичка. Мои одноклассницы.

Храни их господь.

СЧАСТЛИВАЯ

Вера Кузьминична никому не завидует. Пустое это. Да и грех, отец Василий сказал, такой же, как уныние, но меньше аборта. А главное — зачем? Люди трудно живут, маются. А у нее всё хорошо.

Вера Кузьминична возвышается над кассовым аппаратом, черные брови, яркая косынка в тон фирменной жилетке с надписью «Пятёрочка», статная, как монумент, невозмутимая, и видит из окна крышу своего бывшего дома, на улице Амбулаторной. Дом скрыт за высоким забором. Новые хозяева заменили крышу, теперь она блестит коричневой металлочерепицей; дорого, но надежно, не то что старый шифер, который всё время латали — дедушка, потом отец, потом Валерий… И мать, уже парализованная, переживала, что на веранде всё время протекало… Теперь веранду перестроили, выложили из кирпича и оштукатурили, как и весь дом, поставили стеклопакеты. Нет больше наличников с петухами, их дедушка смастерил. Но зато дом цел, и люди в нём живут, семья переселенцев из Казахстана, один ребенок инвалид, не ходит, его возят в санаторий каждый год, надеются, поможет. Покупают ему голубику и гранаты почти каждый день. В каждом дому по кому. Дай-то бог. С тех пор как стала ходить в церковь, она ставила свечки: Пантелеимону — за мальчика, и за Светку-падчерицу — Николаю-угоднику; и в память об всех ушедших — за бабушку с дедушкой, мать, Валерия и, поколебавшись, за отца. Пусть в том мире упокоятся.

— Кузьминична, мне Маврик звонит, выручишь? — вторая кассирша, Наиля, с телефоном в руке бежит в подсобку.

— Конечно, милая, — Вера Кузьминична величественно кивает, махнув рукой.

Наилю она всегда прикрывала. Та сама из-под Баку, муж — армянин, бежали после резни в Россию, где ни армянская, ни азербайджанская диаспора их не приютила, мыкались по углам. Муж, инженер, стал автослесарем, потом открыл мастерскую, его убили пьяные «братки». Наиля вышла замуж снова, за своего, азербайджанца, пока сын был в армии, родила девочку. Муж с армянским сыном видеться не разрешал, Наиля тайком к нему ездила и всегда делала заначку на подарки. Вера Кузьминична видела, как она невзначай дважды пробивала колбасную нарезку или пиво дачникам или «забывала» сотню-другую сдачи, а то и переклеивала этикетки срока годности со списанного товара. Не часто, и никто не заметил. Она же подмечала всё: и как кладовщица Зоя пересортировывает фрукты, и как ее ухажер-участковый выходит из подсобки с набитыми спортивными сумками, а заходил с пустыми. За связь с ментом Зою смертным боем бил муж, она приходила зареванная, в синяках, и не раз рыдала на широком Верином плече, что и мужа любит, но не может устоять, и, как собачонка, бежит за своим ментом, бабником и взяточником, лишь только тот свистнет… По радио слышала — болезнь такая, любовная зависимость… Еще в детстве бабушка кому-то говорила: какую-то женщину съели страсти. Представляла чудищ, вроде Бабы-яги из фильма или летучих мышей — бросаются на человека и откусывают куски мяса… И когда отец ушел, мать, выпивши с соседкой, в сердцах сказала при очередном разговоре о нём, точнее о том, что пропал напрочь, ни писем, ни переводов: «Сгубили его страсти…» Трудно люди живут, маются… Не позавидуешь.

Нет, и у нее было — не отнять. К приезду отца мама решила поставить новый забор, нашелся паренек-солдатик из воинской части — все поселковые нанимали их для разных работ. Рустам. Красивый, высокий, с орлиным профилем, рукастый. Их бросило друг к другу с первого взгляда.

Он рассказывал Вере про свою семью, про село со странным названием Согратль, где самое старое здание — школа, ей триста лет, и разрушенный дом имама Шамиля, откуда он озирал свои владения перед окончательной битвой с русской армией. У Рустама дед был учитель, он сам тоже хотел в педагогический (как и Вера).

— Привезу тебя к нам в село, у нас почти нет русских жен, только у летчика, он в Риге учился, домой летом приезжает в отпуск. Она на тебя похожа. Такая же красивая!

Вера слушала его рассказы, песни на непонятном языке, грустные и тревожные, и представляла высокие горы, бурлящие горные реки, пастбища на склонах, воображала, как она спускается за водой с кувшином на плече, как на чеканке в промтоварном магазине у станции…

Она слышала от девчонок, какими грубыми бывают парни и как бывает больно, но с Рустамом ей было только хорошо, до звона в ушах, до потери сознания… Осенью закончился срок его службы, и он обещал приехать через неделю. Не появился ни через неделю, ни через месяц.

Мать, узнав, что Вера беременна, отхлестала ее полотенцем, потом дала 30 рублей и отправила к знакомой врачихе в райцентр. Адрес и тариф были хорошо известны в поселке — мать и ее подруги пользовались ими регулярно.

— Не бойся, — напутствовала мать, — твой отец меня и до тебя, и после двенадцать раз отправлял, а иной раз и без наркоза. Главное — наркоз: заснешь, и на следующий день как ни бывало.

Но с Верой что-то пошло не так: занесли инфекцию, в больнице она пробыла долго, и в результате ей отрезали всё, из чего могут появиться дети. В справке для школы (Вера заканчивала десятый класс) знакомая врач написала, что был аппендицит.

А вскоре случилась беда — отец ушел. Точнее, написал открытку, что полюбил другую и останется на Украине у нее. И перевод — 300 рублей.

Мать хотела броситься под электричку, ее спасли, положили в психушку, за то время уволили из поссовета, где она работала бухгалтером.

Вера мазала зеленкой уродливые шрамы на животе и не понимала, почему так получилось — почему отец вдруг так поступил и даже не приехал объясниться. Родители жили дружно, отец хорошо зарабатывал дальнобойщиком, привозил из поездок вкусную еду и красивые вещи ей и матери, финские сапоги или кофточки с колготками, они ездили иногда в Москву, а чаще в райцентр на выходные, когда он бывал дома. И почему он не пишет.

На 18 лет она получила от отца перевод — 500 рублей со словами: «Дочери на свадьбу». Хотела отправить назад, потом отдать матери, но передумала. Мать уже сильно выпивала, каждый вечер они с соседкой, у которой сын погиб в Афганистане, отправлялись в самогонщице и потом на полную громкость включали проигрыватель — ансамбли «Пламя», «Песняры», «Поющие гитары»… Вера училась в торговом техникуме и подрабатывала в местном магазине канцелярских товаров, про педагогический пришлось забыть. Она иногда вспоминала Рустама, его руки, его губы, но вскоре эти воспоминания стерлись, как будто всё это было и не с ней, а с кем-то другим, или во сне. У одной школьной подруги за то время уже дважды родились больные дети: девочка умерла почти сразу, а мальчик месяцами находился в больнице, редкая аллергия; муж не выдержал и через год ушел. Другая никак не могла выйти замуж, беременела и делала аборт за абортом. Вера привыкла тащить еле передвигавшую ноги мать домой, разувать и раздевать, вытирать блевотину и слушать пьяный бред.

500 рублей ей пригодились на похороны: мать с соседкой отравились паленой водкой; соседка умерла сразу, а мать, ослепнув, — через неделю.

На 40 дней она собрала знакомых, накрыла стол. Среди приглашенных был племянник соседки Валерий, только что отслуживший во флоте. Говорили, он рассчитывал на

теткино наследство, но та всё оставила родне покойного мужа и его семье.

— Верушка, — он взял ее за руку, когда гости разошлись. — Если ты не будешь квасить, как тетка, я на тебе женюсь.

Валерий переехал к ней. Работал на водоканале, провел наконец в дом водопровод, газ, появилась ванна и горячая вода, о чём родители только мечтали. О детях разговора не заводил. Вера сама сказала, что после операции она не может — если что, можно из дома малютки взять. Но он не настаивал. Сколько раз, лежа с ним рядом, Вера пыталась вспомнить, как она обнимала Рустама, но не получалось. Валерий отремонтировал крышу, поставил беседку и рядом с ней песочницу с грибком. Вера удивилась — для чего?

— Ты не будешь сердиться? — спросил он.

Вера не поняла.

На следующий день он вернулся с работы не один — с молодой женщиной (Вера видела ее в сберкассе за окошком) и волочившей куклу девочкой полутора лет, с рыжими волосами, копия Валерия. Оказалось, их выгнали с квартиры и они просились на постой. Валерий вызвался заплатить.

Вера поселила постояльцев в бывшей родительской комнате, выгнала Валерия туда же. Не спала ночь, а наутро повела новых родственников в сельсовет прописывать. Секретарша, бывшая мамина подруга, пыталась ее отговорить, но Вера оказалась непреклонна. С тех пор по поселку разнеслось: Кузьминична не в себе, блаженная… Но ей было всё равно. Она не поехала на повышение в райцентр, осталась в самые лихие годы в поселке, вместо канцтоваров открылся промтоварный, изредка перепадал дефицит, который тут же перепродавали на рынке в райцентре, поселковое руководство было в доле, и худо-бедно семья жила несколько лет.

Вера учила математике рыжую Светку, водила ее в детсад и потом в школу, та стала ее называть мамой. То,

что Светкина мать — клептоманка, поняла не сразу. Сначала стали пропадать вещи — серебряные подстаканники, бижутерия… Однажды Вера поймала ее за руку — рылась в комоде в Вериной комнате. Она попросила Валерия сделать замок. Когда Светка была во втором классе, случилась очередная беда — ограбили отделение Сбербанка в райцентре: Светкина мать оказалась наводчицей, всех повязали, ей дали срок. Вера оформила опекунство над Светкой, потом ее удочерила. Валерия она к себе больше не пускала, тот смирился, приносил заработанное, стал устанавливать газовые котлы в районе. Погиб, когда случилась авария. Вера похоронила его в одной ограде с матерью, бабушка и дедушка — рядом. Тогда она впервые пошла в церковь — отпевать. И заодно просить спасти Светку, у которой проявились материнские наклонности, крала.

Церковь на краю поселка была заброшенной много лет, ее отреставрировали своими силами, поселковые собрали иконостас. Вера приходила, тихо стояла в сторонке, слушая хор. Ставила свечки за покойников и за Светку. Молодой священник, отец Василий, ей нравился. Как будто сынок — примерно того же возраста, как их с Рустамом нерожденный. Но не исповедовалась и не причащалась. И когда на Василия завели дело о продаже редкой иконы владимирским «браткам» (рассказали прихожане), принесла из дому бабушкину — «Утоление печалей» — и перед самым приходом следователей попросила поставить в пустующий оклад. Следователи дивились и пытались надавить, но Вера уверенно утверждала, что взяла икону домой помянуть предков и вернула назад.

Отец Василий потом стоял на коленях и называл ее святой. А Вера просила помолиться за Светку. С тех пор она старалась не пропускать ни одну службу, научилась петь в церковном хоре.

Когда Светке исполнилось 18, она потребовала раздела имущества. Ее бойфренд хотел начать бизнес в Крыму. Вера выставила дом на продажу, отдала деньгами и ку-

пила себе комнату в семейном общежитии военного госпиталя, на седьмом этаже, с общей кухней и ванной. Зато высокий дом, где всё само работает. Соседи — двое молодых военных врачей из Питера, хорошие ребята, не сильно пьют и вежливые. Грех жаловаться.

Когда ей было уже 45, она сошлась с Амиром, таксистом из Таджикистана — работал мелиоратором, семья на родине, под Душанбе. Он привозил фрукты, готовил плов и назвал ее второй женой. Амир читал ей стихи на русском и фарси, молился по утрам, чисто убирал квартиру и сочувствовал проблемам со Светкой, которая писала редко, в основном требуя денег. С ним было легко и спокойно, и в какие-то минуты она забывалась и вспоминала поцелуи Рустама, и обнимала Амира пылко и отрешенно, и тот от восторга шептал ей какие-то слова на непонятном языке…

Свою таджикскую жену с тремя детьми он привел к ней вместе с мешками сухофруктов и попросил организовать продажу на поселковом рынке. Вера отдала детям свою кровать, временно переселилась в комнату военных врачей, которые были в отпуске, но скоро передала бизнес Наиле и поскорей освободилась и от Амира, и от его потомства, которые быстро нашли приют у заведующей новой привокзальной баней.

— Верушка, ты везунчик, — как-то сказала ей Наиля, — ведь сколько раз могла пропасть! Не спилась, и муж не убил, и Светка твоя где-то далеко, и даже таджик не убил и не ограбил! Хорошо тебе! И сама жива-здорова!

Вера только улыбнулась.

Она стала чаще ходить в храм и готовила подарки для детей Василия — шоколадки, ползунки и игрушки, и пару раз дважды выбивала чек подвыпившим веселым москвичам-дачникам за коньяк и даже текилу.

На похороны она давно отложила и написала завещание отцу Василию, чтобы средства от продажи ее комнаты перешли не храму, а конкретно ему и его семье.

А так у нее всё есть, и некому завидовать. И незачем. Всё хорошо. Она смотрит на крышу дома, в котором родилась, каждый день с высоты своего кресла у кассового аппарата и величаво здоровается с покупателями.

А вечерами, сидя у телевизора в своей теплой общежитской комнате, наливает рюмочку и, забыв о программе, смотрит в окно, где темнеют сосны и кружится снег, и ей кажется, что в его кружении возникает забытое лицо Рустама и лица родителей, и где-то впереди ее ждет прекрасная, всех прощающая и принимающая Богоматерь, которая дарует вечный покой.

СЛЕДОПЫТ

О том, что влюбилась, Серафима Германовна догадалась случайно. Серым ноябрьским утром она шла, как много лет уже, неровной тропинкой посреди тощего сквера от Дома учителя к поселковой почте, аккуратно обходя лужи. Путь этот, триста пятьдесят восемь шагов, самый короткий, и все деревья, со всеми их отметинами и обломанными ветками, и заборы по бокам сквера, и единственную собачью конуру у забора, к которой от калитки с витым литьем вела дорожка из треугольных плиток, и даже все кочки и русла случавшихся в сильные дожди и весеннюю распутицу ручейков она знала наизусть, могла описать подробно и найти с закрытыми глазами. Двадцать пять лет в снег и холод, жару и ненастье она сворачивала с асфальтового тротуара в сквер и выныривала уже около самого здания почтовой конторы поселкового отделения «Черная Грязь». И никогда не соглашалась, если предлагали сослуживицы или знакомые попутчики, сменить маршрут. Не ради пяти минут экономии вовсе (по асфальту, может быть, и выходило бы так на так — всё же по ровному идти надежней), но из некоего давно заведенного распорядка, подоплеки которого Серафима Германовна и сама не нашла бы, если б ее спросили. Может быть, в память о матери, которая по той дорожке, с трудом передвигая артритные ноги, ходила на почту узнать, нет ли перевода. Никогда не позволяла Симе ее провожать. А может, и нет.

Деревья в сквере, липы и клены, летом переплетались верхними ветками, создавая подобие подвижной арки. Нижние ветки были давно обломаны, на стволах виднелись зарубцевавшиеся отметины, оставшиеся от соревнований некогда занимавшего здание поселкового клуба лагеря спортивного резерва (почему-то их руководитель ре-

шил именно таким образом сверять результаты), и кое-где не заросшие следы от козьих зубов. Руководителя клуба и самих спортсменов Сима не помнила толком. А вот как сажали сквер, помнила и даже участвовала вместе с одноклассниками: тогда школьный садовник и по совместительству учитель труда Алексей Михайлович выписал целую партию саженцев, а также цветов-многолетников и даже четыре куста можжевельника. Из-за этих кустов Симина мама, тогда уже завхоз школы, скандалила, не видела смысла, но садовник настоял, сказал, что они будут облагораживать своей формой и фактурой новый сквер по всем четырем углам и представлять многообразие растительного мира Подмосковья. Пришлось ему уступить.

Кроме можжевельника, Михалыч разбил клумбы, вместе с детьми засевал их весной космеей, гвоздиками и ноготками, в центре по очереди бушевали роскошные пионы, потом драматическое «разбитое сердце» и флоксы, никто из прохожих, кажется, цветов не рвал. Клумбы давно заросли и сровнялись с грунтом, от можжевельника остался только один куст, точнее, обрубок. Два зачахли от неизвестных болезней и засухи, еще один больничная техничка, самогонщица Тася, выкопала, чтобы посадить на могилке перепившего ее же пойла и замерзшего под 23 февраля мужа — Сима видела, точно растет на могилке, и сама Тася лежит там же со своим благоверным. Последний куст остался в самом темном углу сквера, у нового гаража Мусы — когда-то трудного подростка, которого мать, помощник зубного техника, спасла от зоны, продав квартиру в Доме учителя, а теперь степенного отца семейства владельца придорожного спа-салона «Владимирка».

Уцелевший можжевельник также подвергался поруганию. Сначала строители гаража свалили на него самосвал песка, потом наехал водитель ассенизатора Славик, у которого дрогнула нетрезвая рука. Но куст выжил! Кривобокий, несуразный, он продолжал жить, выпуская каждый год новые ветки.

Заморосил дождь. Серафима Германовна затянула завязки на капюшоне, привычно бросила взгляд на скудные окрестности — и обмерла. Можжевеловый куст светился розовым светом. Не слишком ярко, но вполне заметно. Серафима Германовна замедлила шаг. Пригляделась. Никаких сомнений — вокруг несчастного обрубка распространялось ровное свечение, и сам он становился с каждой секундой всё пышнее и ярче, на ветвях появились неясные тени, что-то смутно напоминающие.

Серафима Германовна остановилась. Облизнула губы, потерла себе ладонь с внутренней стороны, между линией жизни и линией судьбы, как учила одна дачница — говорила, там точка высшей энергии, отрезвляет и способствует здравому смыслу. Куст продолжал сиять, теперь он переливался, как новогодняя ёлка, знаки обрели ясность — теперь она четко узнала пузатые груши и яблоки из папье-маше, стеклянные бусы, гирлянду из флажков с сюжетами сказок Пушкина, матовую мельницу, все довоенные, сохраненные мамой от собственных погибших родителей, потерянные давно, — и среди всего этого увидела райскую птицу, подарок дяди Рачия в год ее тринадцатилетия. Птица ласково смотрела на нее, поводя черным навыкате глазом, шевелила переливающимися перьями и как будто хотела что-то сказать. Серафима Германовна онемела. Она не чувствовала, как наступает в лужу, как грязь и вода заливают новые полуботинки. Не ощущала, как заходится сердце и от давления стучит в висках, и на глаза наползает туман. Птица так ничего и не сказала. Очнувшись, Сима потрясла головой и еще раз надавила на ладонь. На мокром можжевеловом кусте сидел красногрудый снегирь.

Она вышла из лужи, почувствовала, что промочила колготки, и почему-то совершенно не расстроилась. Она вспомнила снегиря, улыбнулась. На душе вдруг стало удивительно светло и спокойно. Каждый шаг давался легко, и вспомнились какие-то обрывки старых мелодий и слов из репертуара давно забытых ВИА. «Звездочка моя ясная, как ты от меня далека…» Кажется, это было про Надю Кур-

ченко, хотя тогда, когда впервые это прозвучало из школьного репродуктора, никто не знал и не думал. И думали о другом совсем…

Вдруг, почти подходя уже к зданию, она почувствовала, как что-то случилось с ее организмом. Не только ноги слишком ладно шли. Неожиданно сладко и больно потянуло внизу живота, как много лет назад, когда она носила Федю, и мышцы сжались в пульсирующий комок, и грудь набухла. В голове зашумело — но не так, как от давления, а радостно и призывно, как после школьного вечера в седьмом классе, когда она впервые целовалась с Олегом.

— Что-то вы сегодня припозднились, — пропела телеграфистка Филипповна, открывая ей дверь, — обычно раньше всех на посту.

— Да, замешкалась что-то, — проговорила Серафима Германовна и вдруг поняла, что сегодня не вторник. И очень жаль, что не вторник. И стала ждать вторника.

…Он впервые пришел в дождливый сентябрьский день, неловко закрывая зонт, с которого налилась целая лужица на новый линолеумный пол. Попросил доступа в Интернет на полчаса. Сима его никогда не видела. Высокий, худой, возраста неопределенного, усы топорщатся, пиджак мешком, недорогой, ботинки приличные, но поношенные, по виду непьющий, на дачника не похож, да и сезон уже кончился, но и не мигрант и не деловой. Сидел больше часа, что-то восклицал, цокал языком, потом бросился отправлять какую-то телеграмму, смысла она не помнила, что-то типа «не нашел, но близок к цели». Заплатил, убежал, оставил пакет, а в нём — книжка. Фенимор Купер «Следопыт», старая, видно, библиотечная. Сима выглянула на улицу — его и след простыл, как испарился. Прибрала пакет с книжкой, забыла уже. Но в следующий вторник (как раз пенсию давали, соцработники жужжали, как мухи, да и некоторые поселковые сами заглядывали) — он пришел снова и снова попросил Интернет на полчаса. Снова сидел больше положенного, но Сима не стала с него брать на этот раз дополнительно и молча передала

пакет. Тот вспыхнул, улыбнулся и — стал похож на озорного мальчишку, вдруг поцеловал ей руку, сказал: «Какая вы добрая». И исчез. Она посмотрела на свою полную руку, пожала плечами и пошла сверять счета.

Никто никогда не называл ее доброй. Серафима Германовна была ответственной, была грозной, была рассудительной и практичной. Это она слышала не раз и получала заслуженные грамоты и премии, формальные и неформальные, за свою исполнительность и понятливость. Давно, в какой-то прошлой жизни, ее называли стервозой. Первый раз это сказал Олег Шпынкин, тот самый, с которым они целовались после школьного вечера в яблоневом саду, среди осыпающихся лепестков, в одуряющем мареве весенних запахов. Олег тискал ее грудь, и Сима чувствовала, что сердце сейчас вылетит из ребер и взовьется к синему вечернему небу, на котором проступали первые звезды, и сама она станет одним из этих светящихся огоньков. Олег стащил с нее кофточку, забрался в трусы, она и сама почти не сопротивлялась, но в последний момент всё же вырвалась — и тогда он ее ударил и повалил. Глотая слёзы и кровь из разбитой губы, она ободрала ему лицо и прошипела: не смей, я матери скажу, и тебя точно посадят. Тогда он ее грязно обозвал. Она ничего не сказала, а Олег попал на зону из-за очередной кражи на местном рынке. Его поцелуи она долго старалась забыть и, кажется, перестала о нём думать, когда, уже после развода, с маленьким Федей шла по поселку и ее нагнал невиданный автомобиль с тонированными стеклами и русалкой на капоте. Из него выскочил здоровый мужик с толстой золотой цепью на красной шее: ну что, подруга, я слышал, не занята? Жилье в порядке? Пустишь погостить? Вечером приду, а то мне осесть где-то надо. Сима не сразу узнала Шпынкина. Но вызвала милицию, и рецидивиста задержали с краденными ценностями — не у нее дома, в другом месте.

Бывший муж Василий был по натуре молчун. Он служил в соседней части в стройбате и подрабатывал, как все

солдаты, у поселковых, за еду и сигареты. К Лоре Петровне, маме Симы, он пришел по рекомендации — чинить унитаз. Потом починил проводку, исправил шпингалеты на окнах, сколотил новый разделочный столик и стал приходить каждые выходные: уминал котлеты и приготовленную по случаю гостя долму, варенье и блины, иногда просил разрешения позвонить родителям в Краснодон — разговор был односложным. Сима стала спать с ним как-то незаметно: она готовилась к экзаменам в педучилище, Вася всё время крутился рядом, уже практически родственник, и страсть их была тоже какой-то домашней и незамысловатой. Поженились, когда у Симы уже подрос живот и наступил дембель; на свадьбу приехали сваты, привезли молочного поросенка, домашнего самогона; весь Дом учителя широко гулял и потом не менее широко опохмелялся. Вася прописался и был пристроен стараниями Лоры Петровны на ее место завхоза в школе (она сама уже заведовала группой продленного дня).

Сима рожала трудно, долго болела, молока у нее не было, молочная кухня в поселке работала с перебоями, в магазинах — вообще ничего. Федя где-то подхватил инфекцию, Сима два месяца лежала с ним в страшной районной больнице, где ползали тараканы и из подвала совершали набеги голодные крысы — матери боялись, что покусают младенцев. Пришлось взять академку в училище, и тут мать, Лора Петровна, слегла.

Сима, полуживая, устроилась секретаршей в родную школу и не обращала внимания на сплетни. До тех пор, пока не увидела и не услышала своими ушами, зайдя случайно в подсобку: муж, застегивая штаны, просил молодую практикантку-математичку подождать, пока ребенку исполнится полтора года, тогда он может спокойно развестись и отсудить у дуры жены и ее матери комнату в Подмосковье. Практикантка натягивала колготки, глупо кивала, потряхивая мелированными кудряшками, и хлопала накрашенными ресницами.

В суде Сима заявила, что ее муж — не только изменщик и бессовестный примак, но и враг советской власти: слушал регулярно вражеские голоса и осуждал интернациональную миссию СССР в Афганистане и только что состоявшуюся Московскую Олимпиаду. Судья опешила, спросив, откуда в Грязи, где вокруг все глушилки Родины и секретный объект на объекте, слышны вражеские голоса, и Сима сообщила, что бывший однополчанин, радист секретной части, соорудил Василию специальный транзистор, который преодолевает все технические возможности советской информационной защиты. Ваське присудили максимальные алименты, о радисте с тех пор никто ничего не слышал. А Васька, уходя, бросил ей: «Ну ты и стервоза».

Алименты он присылал регулярно, пока Феде не исполнилось 18, потом перестал, встретиться с сыном никогда не стремился. Не так давно Серафима Германовна увидела по телевизору программу — там говорили о геройски погибших ополченцах Луганской народной республики, и вроде бы даже звучало его имя. Она писала, пыталась выяснить, просила начальника почтового управления узнать — но ничего не получилось, из штаба ополченцев написали, что, видимо, произошла ошибка.

...Про себя Серафима Германовна назвала его «Следопыт». Книжку Фенимора Купера он почти всегда носил с собой, доставал из ее страниц какие-то листики с убористыми записями, которые потом передавал по Интернету и, получая ответ, цокал языком, иногда припрыгивал на кресле, качал головой. Это могло продолжаться минут двадцать, а могло и много дольше, и Серафима Германовна не спешила брать с него лишнее, понимая, что происходит что-то важное. Он приходил неизменно по вторникам, два раза в месяц, она заметила, делал переводы по пластиковой карточке, снова через Интернет. Кому и зачем? Уходя, он обычно дружески кивал и иногда подмигивал, как будто между ними установилась какая-то особенная

связь, и улыбался — все зубы на месте, и чертенята прыгают в глазах, как у молодого…

Официального отца у Серафимы Германовны не было. В метрике в соответствующей графе стоял прочерк, и мать назначила ей отчество Германовна в честь космонавта Германа Титова. Лора Петровна всю жизнь мечтала о звездах, мечтала стать учителем астрономии, но не доучилась, преподавала всю жизнь черчение, потом подрабатывала в горсовете и закончила карьеру завхозом поселковой школы, за что получила двухкомнатную квартиру в Доме учителя, единственном тогда в поселке благоустроенном двухэтажном здании с газовой колонкой и туалетом. Так Лора Петровна стала ответственной съемщицей элитного в то время в Грязи двухкомнатного жилья. Родители ее, пламенные комсомольцы, идеалисты, строители Кузнецка, дали дочери в духе времени значительное имя — Ленин Освободил Рабочих, сокращенно Лора, которое она с горестной тягостью несла все годы, пытаясь переиначить то так то эдак. Родители умерли давно: отец — от ран, полученных на войне, мать — от лишений и болезней, и не увидели внучки, считая, что Лора так и останется старой девой. Но суждено было иначе. Лора стала сдавать одну из двух комнат. И одним из постояльцев оказался фотограф Рачий Константинович. Он приезжал в воинскую часть к присяге и к дембелю, иногда к Дню Советской армии, с треногой, огромным тяжелым фотоаппаратом и сумкой с реактивами. Впрочем, это уже потом Сима помнила реактивы, которыми была заполнена вся квартира.

Сначала Рачий приехал в Грязь и каким-то образом нашел комнату у Лоры Петровны. Потом стал приезжать регулярно.

Его приезды, радость встречи, бурные объятия, смех, запах армянского коньяка и специй, приготовление пряных блюд, диковинные сладости, поездки на такси на рынок в райцентр и на пони на какую-то правительственную ферму неподалеку — это первые воспоминания праздника. Не Новый год, не её, Симин, или Лоры день рождения,

даже не 7 Ноября или День Победы. Дядя Рачий говорил — когда у меня есть деньги, тогда и праздник, и будем праздновать, и Лора смеялась и была необычно красивая, и дядя Рачий поднимал ее на руки. Потом его не было долго, но иногда приходило извещение, и Лора шла на почту и получала перевод, и они с Симой ехали в райцентр в кино или покупать ей новое платье или сапоги. Всё это Сима помнила довольно смутно. Но отчётливо сохранилось в памяти, как дядя Рачий на тринадцатилетие подарил ей невероятные колготки, каких ни у кого не было, и странную стеклянную игрушку, как будто для ёлки — огромную жар-птицу с переливающимся хвостом, и сказал, что она должна быть счастлива. Сима чуть было не заплакала — она боялась, что с ним что-то случится, хотела его задержать. Но он обнял ее и Лору и уехал. Больше они его не видели. Несколько раз еще Лора получала по почте переводы, потом и они прекратились. Незадолго перед смертью Лора Петровна сказала, почему назвала Симу таким странным именем — Рачий однажды упомянул, что святой Серафим Саровский отмолит все грехи людей. Так она и решила.

Много лет спустя Серафима Германовна пыталась найти следы Рачия Константиновича, его московскую и ереванскую семьи, других женщин, детей — всё безрезультатно. От него она унаследовала внушительный нос, густые брови и тяжелый зад. «Армянская задница», — подшучивала над ее комплекцией уже парализованная Лора Петровна и вспоминала иногда, приняв рюмочку, подробности проявлений веселого нрава Рачия.

Сын Федя вышел, судя по всему, в деда. Юркий и пылкий, с обволакивающими каждого невероятными синими глазами и длинными ресницами, он прослыл бедой всех девочек школы. В лётное училище он, крепкий и спортивный, легко поступил, успел жениться и развестись дважды; причем последняя жена, из Калининграда, настолько напомнила Симе презренную практикантку-математичку, что не сдержалась — и Федя с женой пропали на несколько лет. Но легкость перемещений Феди по женщинам и

пространству не знала границ, и когда последний раз он, уже представитель российских ВВС в далеких африканских широтах, предстал в Грязи перед матушкой с чернокожей супругой и двумя чудными негритятами, Сима поняла, что сына у нее больше нет. Федя не баловал переводами, но раз в год, на Рождество, направлял то тысячу, то две долларов в эквиваленте и исполненную любви открытку с очередными фотографиями семейства, которые Серафима Германовна немедленно бросала в дальний ящик. Она давно уже установила свой порядок размеренной и поступательной жизни, остановившейся в какой-то момент, но сохраняющей устойчивость и логику. После смерти матери ушла из школы навсегда, получив максимальные привилегии, забыла про педагогику, но нашла прекрасную нишу на почте, где умела потрафить начальству, получив при этом свою выгоду, и складывала неслучайную копейку к копейке, что радовало ее всё больше и больше.

…Сима ждала вторника. Накануне она долго смотрела на себя в зеркале в уборной. Тяжелые веки, глубокие складки у губ, землистый цвет лица. Всё это поправимо. Она вытащила из дальнего угла ящика помаду, пудру, поправила пробор. Вышла в зал. Начальник управления, внепланово приехавший, чтобы забрать выручку от пользования Интернетом и других услуг, приосанился — Серафима Германовна, вы как на выданье сегодня, такая красавица, дай поцелую!

И она снисходительно подставила щеку.

Всю вторую половину дня она пыталась представить, куда отправляет переводы этот Следопыт, кто он, о чём думает, кого любит. Никто в поселке не мог сказать, она спрашивала уже: снимал комнату у военных пенсионеров, платил в срок, женщин не водил (что было приятно), не гулял и писал ночами что-то от руки в тетрадке, ходил в библиотеку иногда. Очень любил смотреть фильмы про индейцев, видели много кассет.

В следующий вторник Следопыт не появился.

И через вторник тоже. И потом.

И никогда его больше не видели на почте поселка Черная Грязь.

Но это на самом деле неважно.

…Серафима Германовна по-прежнему ходит по неверной дорожке, уже зимней, через сквер. И иногда — не каждый раз — ее приветствует тот самый куст можжевельника, который осветил ее сердце неугасимой силой мечты. И на тощих ветках, подернутых инеем, вспыхивают искры и прорастают тени и фигуры; и над всеми ними, и над всем их совместным тихим сиянием, поет тонким голосом райская птица счастья, потому что не петь ей нельзя.

КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ

Венок из одуванчиков

В начале года, разбирая дальний угол стола на даче, наткнулась на старую фотографию — Саша Коняшов, Саша Галушкин и я летом в парке, в венках из одуванчиков. Это 1978 год, мы с Галушкиным приехали к Коняшову в больницу МПС, долго гуляли по территории, обсуждали «Уютный вечер» и решили сплести эти венки. Кажется, это единственная, в период напряженной работы над очередным номером, фотография редакционной коллегии скромного неподцензурного литературного альманаха, выходившего в трех экземплярах с оригинальными иллюстрациями Коняшова и текстами нас троих.

Название «Уютный вечер» — цитата из Теофиля Готье, одноименное стихотворение мы единогласно решили избрать в качестве своего рода микроконституции. Мы не знали тогда знаменитых слов Андрея Синявского о том, что с Советской властью у него были исключительно стилистические разногласия, мы нашли свою формулу — как могли. Учеба на факультете журналистики МГУ — главной кузницы идеологических кадров страны — способствовала нашему творческому самоопределению как нельзя лучше, как и вся противоречивая и разносоставная московская среда периода, известного впоследствии как пышный расцвет удушающего брежневского застоя перед афганским вторжением и Московской Олимпиадой.

Мои экземпляры альманаха исчезли в череде переездов и перемен за последующие годы, я думала, честно говоря, что всё хранит Коняшов, и надеялась как-нибудь прийти посмотреть и даже снять копию. Саша обещал, но

так и не успел — он скоропостижно умер в Испании нынешней весной. На похоронах мы с Галушкиным договорились встретиться и поговорить обо всём, эта смерть обоих потрясла. Не успели. В июле Галушкина не стало. А про «Уютный вечер» я узнала, что Саша отдал свои экземпляры в Библиотеку Конгресса США как образец московского студенческого самиздата эпохи стагнации. Остался верен себе! За что я его еще больше уважаю.

Мы с Галушкиным познакомились осенью 1976 года в Школе юного журналиста при журфаке МГУ. Между прочим, он привел меня в редакцию газеты «Московский комсомолец», где уже успел опубликовать в рубрике «Комсовет» заметку о пустом и бессмысленном заседании школьного комитета комсомола, членом которого являлся, — самой яркой деталью репортажа был багровый отсвет заката за школьным окном, который призван был символизировать скорый конец эпохи тотального лицемерия и конъюнктуры в общественной школьной жизни. Впрочем, куда больше Сашу в тот момент интересовали западные музыкальные тренды (родители-геологи привозили из командировок виниловые диски, которые обменивались, продавались и становились предметом интеллектуальной рефлексии — см. рассказ «Слушая YES», один из знаковых текстов Галушкина той поры).

ШЮЖ — это продленное детство без купюр, лекции аспирантов факультета и походы в кафе «Московское», поездки на концерты КСП и в Коломенское (Саша жил на Затонной, и его школьные друзья Дима Пыжов, Андрей Куденко, Андрей Лунев быстро стали также нашими собратьями, как и шюжовцы Серёжа Литвинов, Дима Мысяков, Света Резвушкина, Олег Вакуловский), знакомство с самодеятельным музеем Булгакова и путешествие в Орёл на постановку «Дней Турбиных» вместе с молодыми артистами — студентами театральных институтов… Мы и потом, уже на первом курсе, много ездили — в Питер (практически через неделю, а то и чаще), в Киев к коняшовским родным, в Купавну ко мне на дачу, где встречали Новый год в

лютую стужу 1979-го, где придумывали праздники и творческие мастерские — в том числе знаменитые «слонарии», когда все присутствующие наряжались в старинные платья (гардероб моей бабушки пришелся очень кстати), слушали старинную музыку (Коняшову было запрещено играть на гитаре), пили французский коньяк (18 рублей «Курвуазье» и 22 рубля «Камю»), ели сыр рокфор и читали стихи авторов Серебряного века, представляя себя кем-нибудь из них... Придуманная жизнь — как запах засохших одуванчиков, затерявшихся в книге (см. гумилёвское «О, пожелтевшие цветы в забытых книгах библиотек...»), как тексты из затрепанного томика «Чтеца-декламатора», как видения из «Некрополя» Ходасевича — с обсуждения этой книги наш тройственный союз с Галушкиным и Коняшовым на первом курсе журфака стал на несколько лет неразрушимым (до этого мы так же страстно, вместе с Пыжовым и Галушкиным, переживали «Иудейскую войну» Фейхтвангера). Потом были Платонов, «Доктор Живаго», Тынянов, Замятин, Шкловский... «Здравствуй, брат! Писать очень трудно...»

По гамбургскому счету, и никак иначе...

Литература была живее серой повседневности, она звала ввысь, она поддерживала в муках и сомнениях, вырывала из трясины. Саша вырвался первым из нас, когда мы это еще не поняли. И сохранил верность избранному пути, когда его вообще никто не понимал долгое время. И победил. Одна из лучших книг (он составитель) «Гамбургский счет» — такой же знак перестройки, как весь наш журнал «Огонек», в котором он не печатался.

На прощании в огромном зале ИМЛИ коллеги, последователи, крупные ученые говорили об Александре Юрьевиче Галушкине, выдающемся филологе, руководителе отдела, редакторе, историке литературы, оставшемся в истории уже хотя бы своим служением Шкловскому и провинциальной литературной периодике 1920-х–1930-х. Всё верно. Он памятник себе воздвиг давно и совершенно сознательно. Он был всегда реально амбициозен, почти вы-

сокомерен. И имел на это право. И монументальный образ, созданный коллегами, — он верный.

Но мне не забыть желтые одуванчики, которые Саша Коняшов проворнее любой девицы сплетал в венки и водружал на наши юные затылки, не ведающие о будущих испытаниях и годах…

И память о той — позапрошлой — жизни в стране, которой давно нет, и той придуманной и во многом наивной жизни в литературе — вопреки всему — дополняет монументальный портрет нечеткими, но важными чертами, без которых образ оказался бы неполным.

Саша Галушкин был очень живым и вполне созвучным своему времени молодым человеком, во всём…

И нескончаемое чувство вины — за то, что не сумели, и за те слова, которые мы так и не сказали друг другу… И — благодарность за счастье, которые мы не успели и не сумели оценить…

Венок из одуванчиков — знак нашего «Уютного вечера», символ ушедшей эпохи, исчезнувшей жизни… Не принесли ли его пушинки живые семена в новую реальность?..

Катя, моя американская сестра

Про Катю я услышала задолго до нашей первой встречи. О своей университетской подруге много рассказывал Джон Кохан, шеф московского бюро журнала «Тайм», «наш первый американец». Джон появился в нашей небольшой квартире на Лесной летом 1988 года, вскоре после публикации в «Литературке» Юркиного очерка «Лев прыгнул» — это был первый в официальной прессе материал о существовании мафии и организованной преступности в СССР. Юркин собеседник, молодой тогда криминолог Александр Гуров, потом признавался, что готовился к аресту после выхода газеты, того же мнения были и сослуживцы, обходившие его стороной несколько дней, до тех пор, пока Горбачёв не ознакомился с материалом и не распорядился создать специальный отдел по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в МВД.

Это был один из знаковых этапов перестройки и одновременно начало новой расследовательской журналистики в стране, еще жившей под цензурой и партийным контролем. Щекочихин стал в тот момент самым известным советским журналистом. В «ЛГ» валом валили коллеги из изданий и компаний многих стран, стремились узнать подробности или взять интервью. Джон тоже пришел за интервью в редакцию, откуда они уже вместе прибыли на Лесную продолжить разговор, прихватив с собой бутылку «Столичной». Беседа затянулась за полночь, потом была совершена экспедиция за второй емкостью к таксистам на Новослободской улице, закончившаяся, как всегда, удачно, вопреки всесоюзной борьбе с пьянством и свободной продажей популярных в народе напитков. Под утро разрушивший окончательно все бытующие стереотипы о харак-

тере и привычках американцев гость мирно уснул на диванчике под детским пледом. С тех пор, до самого отъезда Джона из Москвы в 1996 году, мы встречались регулярно — на Лесной, на даче в Купавне (он стал также первым гражданином США, посетившим до того недоступный для иностранцев поселок, зажатый между засекреченным Центром наведения подводных лодок ВМФ и «главной глушилкой» Москвы — мощной РЛС, блокирующей сигналы «вражеских голосов»). Местные умельцы, впрочем, ухитрялись счастливо преодолевать помехи и за скромную плату совершенствовали «Спидолы» желающих, коих было половина поселка и стопроцентно — дачники. И, конечно, у Джона дома, в просторной корреспондентской квартире дома УПДК на Кутузовском, где очень быстро оказались все лучшие Юркины друзья и обсуждались самые больные вопросы частного и общего существования, прошлого и настоящего, тексты будущих статей и прогнозы политического развития мира. Как сейчас помню, Миша Шилов провозглашает очередной раз: «Макромир ужасен, но микромир прекрасен! Так выпьем же за звездное небо над головой и внутренний мир внутри нас!»

Джон очень скоро влился в близкий, исключительно мужской круг Юркиных «братьев» — молодых в основном людей, журналистов, артистов, ученых, объединенных великолепным чувством юмора, мечтой о скором царстве свободы и здравого смысла и отчаянным стремлением приблизить это будущее. Он много рассказывал об Америке и вспоминал свою однокашницу, с которой вместе изучали русскую литературу, ездили в Вермонт к Солженицыну и издавали студенческий журнал «Урбандус», посвященный переводам.

Рассказывал о ее русском муже, далеком от литературы технаре, который всё их жилище опутал проводами какой-то немыслимой электроники (Катя всё время боялась запутаться), о ее интересе к современной русской культуре. Я живо представляла, как юная профессорша в очках пытается переступить переплетения проводов на полу...

Джон твердил, что мы непременно должны познакомиться.

Я в это время была аспиранткой кафедры литературно-художественной критики и публицистики, заканчивала кандидатскую диссертацию о публицистике Фёдора Абрамова. Его романы и повести, спектакли «Деревянные кони» в Театре на Таганке в Москве и «Братья и сёстры» в Малом драматическом в Питере стали знаком времени, открыв страшную правду о трагедии русской деревни в XX веке. Писатель умер в 1983 году, а публицистику, дневники и заметки начали печатать только в перестройку, как и не увидевшие свет рассказы, отрывки из недописанной «Чистой книги», и они были как нельзя более созвучны времени. Среди дневниковых записей я нашла заметки о посещении русско-американской семьи в Нью-Йорке, их разговорах. Он хотел написать об этом повесть, его вообще увлекала идея своего рода «конвергенции», соединения западного рационального начала и уважения к закону и русского поиска идеала. Мечтал совместить лучшее из традиции отечественных западников и славянофилов. Я рассказывала Джону о своих робких научных выводах, когда он вспомнил — Абрамов был в гостях как раз у Кати и Славы. Это было его последнее путешествие в Америку и на Запад. Через много лет мне позвонил молодой американец, историк Анатолий Пинский, который тоже писал диссертацию об Абрамове, — он шел совершенно моим путем, по моим адресам и пришел к похожим выводам…

Но тогда, в конце 1980-х, всё это звучало довольно экзотично, и ответом на мои публикации об Абрамове стали гневные отповеди в «Нашем современнике»: покусилась на «святая святых», обозвала западником столпа «деревенской литературы». Я чувствовала себя так, будто мне дали орден. Мой научный руководитель, Анатолий Георгиевич Бочаров, кажется, радовался не меньше. А самая первая наставница, Галина Андреевна Белая, своим «дочкам-ученицам» (у нас сложилась небольшая группа бывших студенток и аспиранток, которых она «удочерила»)

рассказывала о первых встречах советских и западных ученых и о молодых американских славистках, с которыми познакомилась во время первых российско-американских филологических диспутов и семинаров.

Когда Катя появилась наконец у Джона на Кутузовском, куда пришел Питер Устинов, американские и русские артисты, писатели, журналисты, и нас познакомили, ее первый вопрос был: как найти телефон Галины Андреевны Белой, который она потеряла. То есть наша встреча оказалась предопределена сразу с трех сторон… Это было лето 1989 года.

Зимой она приехала снова, и мы две недели почти круглосуточно колесили по Москве и Переделкину на моей «пятерке» — в гости к Евгению Пастернаку, Вознесенскому с Богуславской, к Голованову с Альбац, Валентину Берестову, Галине Андреевне… Катя стремилась встретиться со всеми, поговорить обо всём… Тогда она вместе с коллегой начинала писать учебник по истории русской литературы и обсуждала со мной первые главы… Мы говорили о России и Америке, о наших семьях и наших любимых авторах, о новых знакомых, о будущем, которое не может не быть прекрасным, это вообще было удивительное время открытий и ожиданий, и мы в нём участвовали… Этот порыв, это нетерпеливая жажда перемен, эта вера в неминуемое счастье роднили нас, таких разных, и сблизили навсегда. Когда весной 1991 года я приехала в Нью-Йорк (и это была моя первая заграница, не считая Болгарии и Чехословакии), на конференцию о женском творчестве «Гласность в двух культурах», члены нашей российской группы решили, что Катя — моя американская кузина, которую я скрывала.

Конференция, собравшая очень разных писательниц, феминисток, исследователей литературы, режиссеров и показавшая почти непреодолимое зияние между дискурсом американских гендерных исследований и дискурсом американской славистики, равно как и пропасть непонимания между русскими и американскими авторами, вызвала недоумение у многих наблюдателей, но тем не ме-

нее дала начало неостановимому движению русских и американских исследователей литературы и культуры навстречу друг другу. Именно эта странная и чрезвычайно насыщенная встреча проторила дорогу очень многим будущим программам и проектам.

Татьяна Толстая, Наталья Иванова, Зоя Богуславская, Светлана Василенко, Валерия Нарбикова, Лариса Ванеева, Олеся Николаева, режиссер Лана Гогоберидзе, философ Татьяна Клименкова, предпринимательница Диана Медман, которая привезла за свой счет редколлегию женского альманаха «Преображение», — всё это члены российской группы…

Катя подружилась со многими. Но особая связь у нее была с Галиной Андреевной, которая щедро приняла Катю в свою «семью» учениц и соратниц. Их сближала, конечно, любовь к Андрею Донатовичу Синявскому, давнему коллеге по ИМЛИ и другу Галины Андреевны и главному герою исследований и переводов Кати. А как они обе любили дизайнерские юбки!

Не скажу точно, в скольких городах мы с Катей бывали вместе. Хорошо помню свою первую конференцию американских славистов в Майами, где Катю ограбили на глазах у десятка человек: она неторопливо шла, беседуя с пожилой Верой Дарем о Пушкине (писала как раз книгу об африканский корнях и «небе Африки» в текстах), от одного корпуса пятизвездочной гостиницы к другому, как с обеих сторон двое гибких смуглых мотоциклистов ловко выхватили сумочки, висящие на плечах у женщин, и скрылись за поворотом. Полиция немедленно выяснила, что транспортные средства угнали, виновных не нашли. Администрация гостиницы подарила Кате ящик шампанского и огромное блюдо фруктов, она стала героиней конференции, с бокалом в руке принимала гостей в своем номере, повторяя в который раз историю ограбления и не забывая при этом подсчитывать для страховой компании стоимость утраченного в сумке. Больше всего сокрушалась о студенческих работах, которые не успела проверить.

Катя была, бесспорно, перформансистка, в этом она неосознанно, я думаю, подражала Марье Васильевне Розановой, с которой у нее сложились непростые отношения, как, впрочем, у многих исследователей его творчества. Когда я сказала, что М.В. подарила мне одно из своих знаменитых платьев в обмен на мое, таджикское, которое ей в тот момент приглянулось, Катя не могла поверить. Обожала концептуальные мероприятия. Например, пригласить в Институт Гарримана, которым долгое время руководила, представителей одной семьи — Татьяну Толстую и Артемия Лебедева, Ясена и Ивана Засурских… Или поехать в мишленовский ресторан в пригороде Лиона, потому что о нём когда-то слышала от Синявского — и мы мчались в этот ресторан…

Она умела радоваться жизни, каждому дню, обожала шампанское, а в момент дружеской встречи неожиданно начинала придумывать новые проекты и хотела вовлечь в них всех симпатичных ей людей.

Она всегда мечтала осуществить суперпроект, который бы изменил мир, приблизил русских и американцев к взаимному пониманию и к взаимной симпатии, ей это казалось необходимым. Писатели и исследователи литературы, верила она, должны идти впереди. Как это было в конце 1980-х и начале 1990-х. И верила, что личный выбор каждого имеет значение для истории, что вообще историю делают люди, а не президенты и банкиры, и уж тем более не генералы.

В 2008 году, после того как мы практически каждый день часами говорили о событиях в Грузии, она решила создать онлайн-диалог для экспертов, журналистов, студентов из России и Америки. В 2010 году «АЙРЕКС» помог сделать сайт на русском и английском — «Диалог доверия». К сожалению, он не просуществовал долго.

В августе 1991-го мы вместе провели почти все три дня в Москве во время путча. Катя рвалась на баррикады защищать русскую демократию и бурно возмущалась, когда ее как женщину просили пойти домой в комендантский

час. Мы успели написать об этом маленькую книжку со снимками Кати и посвятили ее памяти Юры, Катиного мужа Славы Непомнящего и Галины Андреевны Белой.

Мы успели провести презентацию книжки 24 июня 2014 года в Москве, в ЦДЖ. Было очень много людей, Славин брат Володя и его жена Аня, наши друзья, Катины студенты… Катя была счастлива. В тот же вечер, едва не опоздав на поезд, она с группой американских студентов отправилась по Транссибу в Монголию и потом Китай. У нее уже болела спина, она думала, это остеохондроз.

Осенью, уже принимая химию, она сказала мне: «Даже если бы я тогда знала, что это поездка меня убьет, я бы не отказалась».

Мы собирались написать книгу о Переделкине. Начали придумывать книгу о русских и американцах, не научную, просто для легкого чтения. О привычках и повседневности, шутках и мифах, о том, почему мы такие разные и почему важно научиться понимать друг друга…

Мы очень многого не успели.

Последний раз увиделись очень кратко 8 марта 2015 года. Я планировала приехать к Кате позднее, но неожиданно случилась поездка на сессию ООН, на круглый стол по случаю двадцатилетия Пекинской женской конференции: он был намечен на 9-е, и 8-го я приехала на 80-ю улицу. Наташа Рамос, няня Оли Непомнящей и Калли Гамбрелл, решила поехать со мной. Дверь открыла незнакомая женщина — сиделка. Катя почти не вставала. Мы пробыли вместе часа полтора, Катя, казалось, дремала. Я засобиралась на новую встречу.

— Ты уже уходишь? — спросила она.

— Я скоро вернусь. Через месяц или даже раньше, — ответила я.

Днем 9 марта, сразу после выступления, я улетела в Москву.

Через несколько дней Кати не стало.

Катя Непомнящая, моя американская сестра, навсегда останется со мной.

Бессмертная любовь

Спецсеминар кафедры литературно-художественной критики, третий курс. Мы не успеваем обсудить всё в установленное время и продолжаем после занятий, провожая Галину Андреевну с факультета на другую ее работу — в ИМЛИ, а иногда — домой, в Беляево, в метро и потом на автобусе, с заходом в магазин, захватить что-то к чаю, и в разговорах наших смешиваются темы и имена — забытых и прославленных писателей 20-х годов, современных авторов и критиков, наших родных и близких…

Те, кому посчастливилось стать, хотя бы на время, частью ее близкого круга, мира постоянных собеседников, первых читателей новых статей, конфидентов в оценке последних публикаций, участников двойного праздника 19 октября, ее дня рождения и лицейского дня, — навсегда сохранили в памяти ее улыбку, ее горящие глаза, ее неподдельный интерес и участие к происходящему в нашей жизни, ее искреннюю страсть ко всему творческому — будь то поэзия или новый крой юбки. «Если меня выгонят с работы, я не пропаду, — говорила она нам, — пойду шить юбки».

Страстью этой она умела заразить как никто. Сотни студентов журфака, а также неизвестное число вольнослушателей со всей Москвы, неизменно проникавших в аудиторию на ее лекции, заворожённо впитывали не только информацию и цитаты, довольно редко звучавшие в те годы с университетской кафедры, но и саму ее нестандартную манеру, ее пристрастное отношение к героям лекций, о которых она говорила, как о близких людях. Она вообще не укладывалась в строгие нормы и скучные привычные форматы, во всём. И образ ее — энергичные жесты, яркие

бусы, короткая стрижка и дизайнерская одежда — был также своего рола вызовом.

Говорили, ее едва не выгнали из ИМЛИ за связь с диссидентами и отказ следовать букве и духу теории социалистического реализма, не пускали на филологический факультет и что только личные связи Засурского, Ковалёва и Бочарова дали ей возможность читать лекции у нас на журфаке, несмотря на то, что после многих из них в комитет ВЛКСМ и другие компетентные инстанции поступали доносы. Лекции Белой были знаком времени, таким же, как тусклые пропагандистские лозунги на московских улицах, как Олимпиада-1980, как лекции по теории и практике партийно-советской печати. Примечательно, что после лекции о значении Постановления ЦК КПСС о журналах «Звезда» и «Ленинград», через перемену в 15 минут, мы слушали лекцию Белой об Ахматовой и Зощенко, о трагедии и достоинстве. Достоинство, честь — эти понятия проходили сквозной темой через многие лекции, реплики, замечания. И вера в идеальную любовь. Галина Андреевна искренне и беззаветно верила в силу любви, в то, что любовь преодолеет все неприятности и саму смерть. И считала, что каждая из нас, студенток, заслуживает идеальной любви и счастья. Она обсуждала наши личные истории не менее заинтересованно и взволнованно, чем курсовые и дипломные работы.

Великолепный Анатолий Георгиевич Бочаров говорил, что в ученицы Белой идут интеллигентные москвички, это было справедливо лишь отчасти: не все были москвички, и Олег Клинг не был ученицей.

Галина Андреевна была педагогом от Бога, ей был дан талант увлекать и раскрывать неведомые даже самому ученику способности, как и многие другие таланты. Учеников своих она стремилась приобщить ко всему, что сама любила. Как только начались первые обмены и совместные проекты России и западных стран, старалась привлечь нас к этим новым программам. Не зная ни одного иностранного языка, она была, бесспорно, истинной граж-

данкой мира, раздвигая границы, соединяя людей и преодолевая предрассудки. Она была среди участников первой исторической встречи советской и эмигрантской литературной общественности в Копенгагене — одним из результатов встречи стало ее решение принять приглашение Юрия Афанасьева и создать факультет истории и литературы в РГГУ. Открытие мира, воссоединение культурных традиций, освобождение литературного пространства от идеологических оков — во всём этом Галина Андреевна принимала самое деятельное участие; бесспорно, ее вклад в освоение русского литературного наследия и установление диалога российских и западных исследователей трудно переоценить.

При этом ее внимание к «семье учеников», которая с каждым годом становилась всё более многочисленной, не убывало.

Она была счастливым человеком и остается для многих удивительным примером служения профессии и идеалам добра. И любовь, озарившая последние годы ее жизни, лишь подтвердила: Галина Андреевна, как всегда, была права.

Я наверняка не была ее «любимой дочкой», но после смерти моей мамы в 1996 году, 10 августа, до самой смерти Галины Андреевны 11 августа 2004-го не чувствовала себя сиротой. И боль утраты с годами не слабеет. Я продолжаю диалог с ней, и до сих пор жду подсказки, не находя ответа на мучительные вопросы, и верю, что она поможет... Как тогда, в заснеженной и слякотной Москве 1980 года...

Джейми

Она походила на молодого оленя. Каштановые кудряшки, удивленный взгляд, порывистые движения. Кардиган с карманами, брюки, пестрый шарф, круглые серьги. Такой Бэмби-подросток. Не походила на большинство слависток, с которыми мы успели познакомиться на первой и единственной конференции американских и советских писательниц. Сейчас сказали бы, что в ней очевидно, в каждом жесте, в каждой детали, проступала принципиальная несистемность. Но тогда это слово еще не обрело сегодняшнего значения и не присутствовало в повседневном лексиконе. Она просто была немного другая. Нас познакомила моя первая американская подруга, моя «американская сестра» Катя Непомнящая, с которой мы уже успели подружиться в Москве и строили феерические совместные планы. Катя была тогда младшим профессором Барнард-колледжа в Колумбийском университете.

Джейми не была аспиранткой или профессором, она переводила рассказы Татьяны Толстой и работала в журнале «Арт ин Америка». А еще она дружила с Бродским.

После конференции я осталась на несколько дней в Нью-Йорке и жила у Кати со Славой, в крошечной, заваленной книгами и компьютерной техникой квартире на Сентрал-парк Вест; повсюду на полу клубились запутанные провода, между ними бегала такса. Меня определили на кожаный диван, который не раздвигался из-за тесноты, — ночью на диван и на меня прыгала по привычке собака. Я практически не просыпалась, мне снилось, что на меня опустился дракон из японских миниатюр музея «Метрополитен» — мы как раз успели попасть туда перед закрытием.

Была весна 1991 года. Моя первая заграница. Еще был Советский Союз, но уже рухнула Берлинская стена; не отобранные специально, а обычные граждане начали проникать в Америку, участвовать в маршах мира, всевозможных совместных акциях. Из «Огонька» первым поехал Виталий Коротич, он, впрочем, уже бывал там и раньше, сохранил связи; потом — Валя Юмашев и Володя Вигилянский. Давняя подруга мамы Володи, писательницы Инны Варламовой, и организовала конференцию, на которую приехали два десятка очень разных женщин. Валя говорил, что больше всего в Америке его поразило то, что все улыбаются, по поводу и без повода.

Из Володиного рассказа помню красочное описание магазина пуговиц — огромного, и пуговицы всех возможных и невозможных видов. Когда поделилась этим рассказом с портнихой, та немедленно сделала заказ на случай, если я тоже поеду.

Про то, что в Цитадели желтого дьявола прилавки ломятся от колбасы и прочих деликатесов, говорили все: по Москве гуляли апокрифы о том, как профессора, зайдя в гастроном, теряли сознание от вида и запаха. В Москве в это время по научным учреждениям и просто знакомым распределяли немецкую гуманитарную помощь: тушенку, сушеную фасоль, картофель и морковь. Картофеля было больше всего, и он оказался совершенно несъедобным, сколько ни вари, но его так же охотно разбирали — у многих остатки хранились долгие годы, едва ли не до 2000-го.

В первый же день я вышла из гостиницы в Вашингтон-сквер, светило солнце, на молодой траве лежали и сидели студенты, пили кока-колу и воду прямо из горлышка, курили (тогда еще было можно). Вокруг громоздились аскетичные прямоугольники университета, гудели такси, и я вдруг поняла, что это мой город и я чувствую биение его сердца, как свое. Я подошла к передвижному киоску, купила маленькую пластиковую бутылку воды и горячий бублик, села на лавочку. Какой-то парень подошел, попросил заку-

рить и не совсем понял, что я отвечаю. Но это было совершенно неважно.

Больше всего в Нью-Йорке поразили не магазины, о которых и так все знали, а многообразие лиц и антропологических типов в метро и на улицах: черных, смуглых, азиатских — все варианты смешения генов. Библиотека, музеи, в которых не угадывался привычный порядок размещения экспонатов по эпохам или стилям, но поражала мощь и энергетика древних и современных культур, которые совершенно не противоречили друг другу и как будто вступали в неожиданный диалог. Многообразие этнических кафе и ресторанов, которые корреспондировались с возможностью узнать немедленно о любой культуре мира... Я ходила по городу одна, наполняясь его ритмом, его запахами, осваивая его пространства и закоулки, и вечером возвращалась к друзьям, где мы продолжали не законченные прошлой ночью разговоры.

К Кате неожиданно из Принстона приехала мама, по каким-то делам, на несколько дней. И я переехала к Джейми, в Ист-Виллидж, практически в Сохо, на Грейт-Джонс-стрит, в лофт на четвертом этаже бывшего фабричного здания. В первый же вечер мы рассказали друг другу обо всём — о нашем детстве и родителях, первой любви и неудачных романах, подругах и друзьях — и под утро поняли, что мы не просто удивительно похожи, а что почти одинаково видим и чувствуем происходящее вокруг... Русский язык у Джейми оказался невероятный — чистый, с почти неуловимым акцентом, да она и жила по-русски, чувствовала неуловимые нюансы, откликалась на невысказанные еще слова, что недоступно иностранцу. Переводчица она была просто гениальная (это я поняла потом) и бралась за трудные тексты — Цветаева, Родченко, потом Сорокин...

Она работала в художественном журнале «Арт ин Америка», рядом, на Бродвее, писала о современном искусстве, в том числе о нонконформистском русском, знала

всех, кажется, представителей этого направления и в Америке, и в Москве.

Мы ходили в галереи и на выставки в музеи, гуляли по Сохо, вдвоем или вместе с Джейминими друзьями. Заходили к Бродскому. Первая встреча на Мортон-стрит — в том же 1991 году, только летом (это уже другая, моя вторая, поездка на конференцию исследователей русской культуры). Нашу группу — Галина Андреевна Белая, Лена Скарлыгина, Джейми и я — привел в 11 утра тогдашний секретарь Бродского Саша Сумеркин. Бродский веселился, жевал пробку из-под шампанского, которое открыл в честь нашего приезда, без конца курил. Мы знали, что у него очень больное сердце — могло остановиться каждую ночь. И боли. Было впечатление, что он стремится каждую минуту прожить, как последнюю. Он только что закончил новую поэму «Вертумн», и я предложила отвезти ее в «Огонёк». Он не поверил: «Меня напечатают в “Огоньке”?»

Напечатали поэму через две недели, я привезла экземпляр журнала в следующий приезд. Электронной почты тогда не существовало, даже факс послать за границу являлось проблемой: на весь «Огонёк» был всего один аппарат и один телефон с международной связью — они запирались на ключ в специальной комнате, и надо было всякий раз просить разрешения главного редактора, чтобы воспользоваться.

Лофт на Грейт-Джонс-стрит стал моим американским домом на несколько лет: я часто по приглашению университетов приезжала на конференции, читать лекции (Россия была в моде) и всегда проводила несколько дней в Нью-Йорке. Иногда случалось, что Джейми как раз в это время уезжала в Москву, и я брала у знакомых ключ.

Август 1991-го я провела вместе с Джейми в Москве, в квартире архитектора Иосифа Уткина в Денежном переулке. Приехала к ней 19-го числа прямо из редакции — сын остался с бабушками на даче, муж скрывался, его разыскивали гэкачеписты. Наш журнал закрыли, мы готови-

ли подпольный выпуск, нашли типографию. Квартира Уткина была совсем рядом с Белым домом, она стала своего рода штабом: сюда приезжали мои коллеги, друзья Джейми — художники; по нескольку раз в день заходили Иосиф Бакштейн и Ира Нахова, Катя со Славой, которые тоже оказались в Москве... Мы слушали прерывающиеся выпуски «Эха Москвы», встречали знакомых на баррикадах, не понимая, что участвуем в истории...

Она была создана для любви, в отличие от многих, для кого романы и партнерство составляют приятную или в меру важную часть личной повестки, которой отведено определенное место. Для нее любовь была — всё. Она была несчастна. Много лет любила русского художника — он возвращался к жене, мучил ее, исчезал и в конце концов бросил. Она его помнила всю жизнь и, когда через много лет увидела неожиданно на открытии выставки, потеряла сознание. Все последующие романы не спасали. Только дочь, которую она нашла в Ульяновском детдоме, когда уже работала в Москве в благотворительном фонде, дала ей успокоение. В том же детдоме через два года Катя и Слава нашли свою дочь Олю.

В Москве Джейми обычно жила у Игоря Макаревича и Лены Елагиной, у Уткиных она оказалась только потому, что Игорь с Леной поехали готовить свою выставку в Париж. Джейми, Лена и Игорь — это отдельная, удивительная страница той исчезнувшей уже московской жизни, мгновения которой успел запечатлеть Миша Михальчук в своих фоторабо тах...

Когда Джейми получила работу в Фонде Сороса в Москве, она сняла большую квартиру в знаменитом писательском доме в Лаврушинском переулке, которая стала постоянным местом встречи всех русских и американских друзей. Казалось бы, наступила долгожданная гармония. Маленькая Калли, неизменные кошки и даже временные постояльцы создавали ощущение устойчивости и уюта. Джейми в Москве была в те годы не просто заместителем Екатерины Юрьевны Гениевой, не только представителем

фонда, который поддержал и сохранил (бесспорно, благодаря в основном Гениевой) культурное и гуманитарное наследие страны — библиотеки, музеи, университеты и школы, но и одним из основных участников современного интеллектуального процесса. Не только потому, что умела найти и убедить руководство фонда поддержать новые проекты и программы, в которые верила. Она сама была живой участницей всего этого броуновского движения, стремительного обновления и обретения новых смыслов и горизонтов. Работая в фонде, она уже не так много писала, но ее укоренение и участие в московской жизни не просто укрепилось, она растворилась в ней, как умеют только свои.

И продолжались наши ночные посиделки в бесконечных разговорах обо всем…

Зимой 2015 года, после смерти Кати Непомнящей, Кэрол Юланд и Нэнси Конди организовали в Техасе на очередной конференции славистов встречу ее памяти. Джейми жила с Калли в Техасе, в доме, который достался в наследство от отца, и присоединилась к нам; мы как будто снова оказались в вихре событий 1990-х. Она жила почти затворницей, мало переводила, посвящая всё время дочери; ее большой дом, где жили несколько кошек и собака, удивительно напоминал московскую квартиру. Мы говорили о планах, о том, что надо непременно записать всё, что мы помнили, и сказать о тех, кого любили… Говорили об этом, еще когда Джейми пригласили в «Гараж» прочитать лекцию о нонконформистском искусстве, а потом в Нью-Йорке, куда она вернулась, наметили какие-то конкретные шаги… Последний раз это было в декабре 2019-го.

О том, что она заболела, я узнала сразу после Нового года.

Успела ее увидеть — уже под действием лекарств, исхудавшую, практически без сознания. Мне кажется, она узнала меня, по крайней мере, она точно слышала мой го-

лос и пыталась что-то сказать в ответ. На следующий день к ней собиралась прийти Ира Нахова. Не успела.

Проходя по московским улицам, мимо бывшего дома Джона Кохана, мимо Киевского вокзала, гостиницы «Украина», сменившей название, пытаясь через тридцать с лишним лет осмыслить происходящее, не раз и не два думала, что надо бы позвонить Джейми, рассказать, обсудить… Иногда казалось, что я вижу ее в толпе…

Джейми Гамбрелл, американка до мозга костей, москвичка 1990-х, без которой невозможно представить нашу тогдашнюю жизнь. Джейми, с которой мы так крепко дружили и так многого не успели…

Димыч

— Ты хочешь стать писателем, как папа?

— Нет, я бы хотел стать композитором…

Мы сидим на лавочке на Парковой, ждём Наташу — она задерживается где-то в Москве; нам одиннадцать и двенадцать или двенадцать и тринадцать. Купавна, лето…

Я думаю об однокласснике, который на меня не смотрит совсем, уехал с родителями в Чехословакию, а мне пишет письма другой одноклассник, но он мне неинтересен. Димыч, кажется, тоже о ком-то в этот момент думает.

Он начинает пересказывать мне фильм, подробно. О том, как человек, чтобы преодолеть свою робость и удивить любимую, научился проходить сквозь стены.

В те времена вообще довольно часто пересказывали друг другу увиденные киноленты. И подростки, и взрослые. Не просто передавали сюжет, а обстоятельно, со всеми деталями вдавались в изложение истории, описывали интерьер, костюмы и выражение лиц героев, сопровождая иногда собственными комментариями.

Димыч рассказывает долго, может быть, столько же, сколько шёл сам фильм. Рассказывает так, будто сам его снял или будто он и есть тот самый герой, который научился необычайному. Наташа, наша подруга, всё не приезжает, мы сидим, спускаются сумерки. Я начинаю мёрзнуть, но не решаюсь его остановить, а он не замечает, что меня уже зуб на зуб не попадает. Наконец я не выдерживаю и прошу меня проводить. У моей калитки он досказывает последние эпизоды.

Через много лет я посмотрела тот, 1959 года, фильм Ладислао Вайды по мотивам новеллы Марселя Эме. Послевоенный Западный Берлин, традиционный бунт «ма-

ленького человека», зажатого непреодолимыми социальными рамками и условностями… Закомплексованный и безвольный герр Бухсбаум в блестящем исполнении знаменитого актёра Хайнца Рюманна никак не корреспондировался с тем образом романтического героя, о котором рассказывал Димыч.

Димыч обладал редким даром видеть в людях, в окружающем скрытые от поверхностного взгляда грани и особенности, некий позитивный потенциал. И, можно сказать, преображал своим видением действительность: точно угадывал в близких и просто знакомых важные, самые лучшие качества и словно подталкивал к тому, что качества эти развивались и становились заметны всем.

Не помню, в каком году мы познакомились. В довольно раннем детстве, это точно. Память безжалостно смывает не только случайные, но, к сожалению, и важные картины и события. И Димыч, и я занимались у Евгении Александровны Едановой, бабушки Лены Архиповой (тогда Баженовой), брали уроки фортепьяно, но пересекались там редко, всего несколько раз. Однако непременно встречались на концерте учеников, который устраивала наша преподавательница (родителей приглашали в обязательном порядке). Не вспомню, что именно Димыч играл. Но в памяти отпечатались его осанка, профиль (как Бетховен, почему-то решила тогда я, хотя был он стриженый и вовсе не похож на Бетховена) и лица заворожённо слушавших взрослых, его отца Роберта Александровича Штильмарка и моей бабушки. Чуть позже мы музицировали у Штильмарков дома, там стоял чёрный «Беккер», как у Евгении Александровны.

Многие художники чётко разделяют территорию собственного вдохновения и рутину — Димыч был очевидной противоположностью. Его восхищала жизнь как таковая, его творческое отношение распространялось буквально на всё, на что падал взгляд и к чему прикасалась рука. Самое яркое тому подтверждение — дом, который он с какой-то истовой страстью строил вместе с женой Леной. И

дом был также произведением, а не просто местом проживания. Ещё его влекла водная стихия (планы кругосветного путешествия обсуждались конкретно, отчётливо, обрастали художественными проектами) и интересовали перспективы использования скрытых резервов организма.

Однажды вместе с Димычем пошли к Татьяне Сельвинской, дочери поэта, и я оказалась свидетелем их разговора о здоровье позвоночника. Это было неподражаемо — жалела потом, что не было возможности записать на плёнку.

Тата (он так её называл) заканчивала двойной портрет — Димыча и Лены. «Знаешь, — говорил он мне по дороге к метро, — я даже не знал, что бывает такое счастье. Когда мы с Леной вместе, мне кажется, что смерти нет».

Это было за пару лет до того, как он заболел.

Романтическая любовь, верность этой любви, преданность любимой женщине, Прекрасной Даме, во вселенной Димыча занимали важнейшее место. Это несовременное, попросту странное для представителей нашего в общем-то циничного поколения, отношение, мне кажется, стало основным импульсом его творчества. Бернс, Пастернак, Багрицкий, положенные им на музыку и в его исполнении, становились иными, Димычевыми, вступали с ним в живой диалог. А его собственные тексты, которые родились уже позднее, развивали любимые темы великих предшественников.

Вообще, смыслом его творчества было утверждение бессмертия любви. Мне жаль, что я не успела ему этого сказать. Впрочем, сказали на Рождество 2019 года другие — те, кто слушал «Серебро», наверное, самую удивительную балладу Димыча. Не знаю сегодня другого автора, который так написал бы о любви. Этот текст и неотделимая от него мелодия — важный сюжет в современной русской литературе, уже часть истории…

Мы встречались нечасто. Но все эти годы каким-то образом не теряли друг друга из виду и каждый раз начи-

нали говорить «с середины», как будто продолжая давно начатую беседу, хотя могли пройти месяцы, а иногда и годы.

После возвращения из клиники он вдруг позвонил и настоятельно просил приехать. Мы пили кофе у камина, он подкладывал в огонь поленья, взахлёб говорил о новых планах, в которых будто сконцентрировались его многолетние проекты и замыслы. Главной идеей практически во всём было помочь людям раскрыть себя, найти возможность поддержать тех, кому трудно… Конечно, памятник Роберту Александровичу, конечно, его новые издания, исторические изыскания… Димыч категорически отметал мои предложения приступать к задуманному последовательно — он хотел всё сразу, не откладывая… Мы довольно много запланировали тогда, наметили какие-то встречи, переговоры… Димыч убеждал меня непременно приготовить кальвадос, поделился рецептом, а Лена подсказала, какую посуду лучше использовать — обычную трёхлитровую банку. Я так и сделала.

…В 2022 году вновь съехались на Рождество писатели — Светлана Василенко, Геннадий Калашников, Леонид Бахнов, Дмитрий Стахов, Фаина Османова. Собрались, как и в 2019-м, у Андрея Красильникова под ёлкой. Андрей включил запись — рождественская баллада на его стихи, музыка Димыча. Динамики барахлили, что-то дребезжало, но голос Димыча прорывался сквозь помехи, перекрывал их и напоминал о вечной силе любви, которая бессмертна. Димыч был с нами.

Всё обойдётся

Из общего нашего детства отчетливо помню одно: мы лежим, распластавшись, на холодной московской крыше и смотрим, как появляются звезды. Внизу, на Покровке, фыркают машины и тонко пахнет черемухой, жесть леденит лопатки, а над нами — фиолетовое, темнеющее с каждой минутой небо, на котором проступают сначала едва заметные, но всё ярче, ближе и неизбежнее — они. Хрупкий свет их пронизывает тонкими острыми лучами всё: время, пространство, затихающий город и нас двоих насквозь, до последней косточки. Мы говорим о чём-то и разом смолкаем — вот одна звезда медленно отделилась от стаи, покачнулась и ринулась вниз.

Найка шепчет:

Что если, вздохнув нечаянно,
Мерцающая всегда,
Своей булавкой заржавленной
Достанет меня звезда?

Вот в чём дело! У них, оказывается, есть острые булавки, на которые мы все пришпилены, как бабочки в коллекции, и никуда не деться, как ни дрыгай руками и ногами. Страшно и жутко одновременно от понимания этой обреченности.

Вдруг она садится.

— Кажется, у меня снова началось.

Я не понимаю.

— Ну, месячные. Менс. У тебя еще нет, что ли? Фу, платье опять испачкала, Димка снова орать будет.

Она встает на четвереньки — иначе упадешь: платье в пятнах на заднице, и по ногам ползут струйки крови. Я нахожу грязный носовой платок (у меня хронический на-

сморк), помогаю ей вытереть кое-как ноги, и мы ползем по крыше к чердачному окну, потом — по щербатым ступенькам в кромешной темноте — в подъезд, в необъятную коммуналку с дюжиной непривычных и одуряющих, мешающихся все в один, запахов, где моя двоюродная тетка с подругами празднует приближение Дня Победы. Я первый раз вижу, как пьют неразбавленный спирт и пляшут вприсядку под матерные частушки. Подруг всего трое — моя тетка в модном вязаном костюме из «Березки» и кроссовках (ее муж — работник Совмина в Минске, она самая обеспеченная из всей родни, а муж сам не воевал, он на двенадцать лет моложе и страшно ее боится), тощая некрасивая Татьяна (никогда не была замужем и ненавидит мужчин) и необъятная Ольга в перелицованном сарафане (похоронила недавно третьего спутника жизни, расписана никогда ни с кем не была). Все они артиллеристки и в канун праздника непременно собираются здесь, у Ольги, поют, обнявшись («Артиллеристы! Точный дан приказ. Артиллеристы! Зовет отчизна нас! За слёзы наших матерей, за Сталина…»), пьют за упокой погибших и над чем-то весело смеются.

Платье застирано, собраны окурки папирос, стихают нетрезвые объятия, до Курского можно пешком, но тетка ловит частника и везет нас к электричке. Шофер оказывается тоже фронтовик, тоже с Белорусского фронта, они вспоминают фамилии генералов, тетка дает ему трешку, и он долго благодарит и поздравляет с наступающим.

Почему Найка поехала тогда со мной в Москву? Может быть, за гомеопатическими шариками для матери, Диамары Ильиничны, — говорили, от ее болезни шарики помогают лучше всего. Успела ли Найка их купить? Я так и не спросила до сих пор.

Вообще, нельзя сказать, чтобы в детстве мы дружили, просто ходили иногда вместе в поселковую школу — Найка появлялась из своего Тургеневского тупика возле самого леса, я присоединялась к ней на проспекте Ленина, разделенном широким естественным парком, где вечерами в

кустах собиралась поселковая шпана, а зимой вся школа носилась на лыжах. Найка почти на два года старше (по школе — только на класс), но в ту пору — огромная разница, почти пропасть. У меня другие подруги, одноклассницы, внучки бабушкиных знакомых — «коммунистов» (бабушка — бывший парторг в поселке), но почему-то всегда тянуло к Найке — маленькой, смуглой, с широко расставленными галочьими глазами. Бабушка не одобряла: семья неблагополучная, мать-одиночка, беспартийная и вообще «психическая» — вся улица собиралась, когда она падала вместе с наполненным ведром у водопроводной колонки и билась на песке, трое мужиков не могли ее унять, пока не прибежала Найка, вставила ей в рот какую-то палочку и тихо увела домой. Однажды ее вообще увезли на «скорой» в больницу, Найку едва не отдали в детский дом, но (надо сказать, тут бабушка постаралась) откуда-то вызвали её двоюродную сестру Илону. Найкину мать и ее сестру родители назвали по-революционному: Диамарой (в честь передового учения) и Лорой (сокращенно — Ленин освободил рабочих), а те своих дочерей нарекли Ноэми и Илоной. Илона эта потом навела шороху в поселке — к ней стал приезжать однокурсник-араб, а в поселок иностранцам доступ был запрещен (рядом — военный городок, то ли ракетная установка, то ли пульт слежения за вражескими подлодками, во всяком случае, военных различали на моряков и сухопутных).

Статный Абдулла приезжал под видом грузинского гостя в огромной кепке-аэродроме, впрочем, соседи настучали куда надо, в Тургеневский тупик нагрянули двое милиционеров и человек в штатском на автомобиле с мигалкой, Илону увезли, но ненадолго; кажется, из училища ей пришлось уйти — а за Абдуллу она вышла-таки замуж, уже через несколько лет приезжала с двумя кудрявыми ангелоподобными малышами, с толстой задницей и звякающими тяжелыми цепями на шее, запястьях и даже щиколотках.

С Найкой мы обычно кружили по парку, она рассказывала новости — знала всё: кто в поселке разводится, чей муж отправлен в ЛТП, с какой улицы девчонку зажали на «запретке» у воинской части солдаты, но не тронули, заставили их облизывать. Разговоры ее почти всегда касались тайной жизни тела, о которой не принято было говорить ни дома, ни в школе, словом, сильных чувств — любви, ненависти, ревности, которые раздирали, оказывается, всех окружающих нас самых обычных людей. Иногда она читала наизусть непонятные стихи:

Твоим узким плечам
Под бичами алеть.
Под бичами алеть,
На морозе гореть.
Твоим детским ногам —
По стеклу босиком.
По стеклу босиком,
Да кровавым песком…

Стихи она выучивала из затрепанной материнской тетрадки, которая хранилась у нее в доме на единственной книжной полке. Книг мало, но все странные: Библия с гравюрами, «Чтец-декламатор», Блок. Диамара Ильинична когда-то мечтала стать актрисой (говорят, ее сестра Лора в результате вышла замуж за конферансье в провинциальной филармонии), всё время, сколько я помнила, она работала библиотекарем в нашем клубе и нередко подрабатывала, замещая в очередной раз загулявшую уборщицу в школе. У нас дома (огромный, недостроенный, мрачный) совсем другие книги в шкафу: полное собрание сочинений Горького, Льва Толстого, полный Ленин, которого бабушка конспектировала к очередному партсобранию вместе со статьями из местной газеты «Знамя коммунизма» и журнала «Политическое самообразование», сочиненные политинформации она читала вслух парализованному дедушке, не покидавшему своего кресла у окна.

Когда (нечасто, раза два в год) приезжали родители, дом наполнялся их друзьями, звоном хрусталя из запертого буфета, песнями под гитару о далекой романтике и долгим тяжелым застольем, мама иногда уводила меня в нашу комнату и перечитывала вслух «Три товарища», которых возила с собой во все их немыслимые геологические партии и на комсомольские стройки. Я пересказывала Найке Ремарка, и мы мечтали о будущем, она — о невероятной любви («Это когда не только хочешь отдать за него жизнь, но и не можешь этого не сделать, когда умираешь и рождаешься каждую секунду»), я — о счастливой семье. У обеих нас такой не было.

Отца своего Найка не видела никогда (говорят, он был циркач, глотал шпаги и огненные факелы и был страшно красив). Я тоже тосковала по родителям, сколько себя помню. Когда мне исполнилось три месяца, мама поехала за отцом на стройку города Мирного в Якутию, а я чуть не умерла от воспаления легких, от которого остались хронический насморк и склонность к простудам и ангинам, так что переезды и кочевая жизнь мне были строго противопоказаны. Мама любила отца беззаветно: когда тот говорил, она смотрела с восторженным обожанием и не уставала рассказывать о том, какой он талантливый и редкий человек. Так же она смотрит на него с одной из немногих фотографий, где мы втроем у Царь-пушки, меня поставили на ядро, а они в обнимку рядом. Отец, большой, красивый и сильный, даже когда мне было уже тринадцать, брал меня на руки, говорил: «Моя дочка, моя кровь», — и при этом призывал окружающих выпить за мои косы и мои глаза. Страшное потрясение, которое отравило несколько детских лет: я просыпаюсь от непонятного шума — отец душит мать подушкой и повторяет: «Ты мне скажешь, сука, наконец, чей это ребенок?» Я ору, они вскакивают с постели и забирают к себе, я делаю вид, что сплю, но трясусь до утра от ужаса и горя. Впрочем, больше никогда их скандалов я не видела — даже потом, когда мы жили вместе в Москве.

У мамы были две мечты: когда-нибудь съездить в Париж и получить квартиру в Москве. Последнее время я всё чаще вспоминаю поселок, нашу скудную жизнь (как я понимаю, родители присылали не слишком много денег), бабушку, непременно с накрашенными губами и гордо поднятой головой, влачащую меня за руку то на сход ветеранов, то на проверку выполнения инструкции исполкома о покраске заборов в зеленый цвет (владельцев синих и желтых заставляли перекрашивать), то на концерт в честь Первомая. Понимаю теперь, как ей было нелегко — с парализованным мужем, худосочной внучкой, недостроенным огромным домом (мечта всей их с дедушкой жизни в далеком шахтерском поселке, откуда они, после ударной тридцатилетней вахты, приехали в Подмосковье), буйными соседями и мотающейся по стране дочерью. Впрочем, маму бабушка никогда не осуждала и называла тургеневской девушкой.

Вспоминаю канувшие в прошлое лица, детали, краски и запахи, о которых, кажется, уже давно забыла и в которых, мне кажется сегодня, кроется какой-то тайный смысл, скрепа и связь событий последующей жизни, ее неудач и потерь, и силюсь понять, что же получилось не так и можно ли еще что-то исправить. Долгими вечерами, пока дочки нет (интернет-клуб закрывается в одиннадцать, оттуда еще полчаса на метро — разве можно позволять подросткам так долго сидеть у компьютера?), пока никто не приходит и не звонит, я перебираю осколки прошлого, как драгоценные камни, и удивляюсь тому, как немного на самом деле в нашей судьбе зависит от собственной нашей воли, устремлений и надежд. И думаю о том, что одной из этих скреп и знаков судьбы, в которой я не сомневаюсь, была именно Найка.

Когда мне было шестнадцать лет, родители вернулись с Севера и построили кооператив. Их северных денег хватило только на однокомнатную квартиру (много прогуляли, констатировала бабушка), правда, в самом центре, у метро «Студенческая», недалеко от престижного Кутузов-

ского проспекта, по которому проносились правительственные кортежи. После просторного поселкового дома всё казалось тесным и неудобным, мне выделили кровать за шторой, уроки (десятый класс, аттестат) я делала в совмещенном санузле по ночам, устроившись на крышке унитаза и разложив учебники на тумбочке для белья. Новая школа, новые друзья, стыд за нашу тесноту перед одноклассниками — обитателями сталинских огромных квартир, неловкость оттого, что незнакома с московской жизнью, строгость новых учителей…

В энергетический институт я решила поступать просто потому, что моя единственная близкая приятельница (кстати, тоже не коренная москвичка, так же комплексовавшая, что, наверное, нас и сблизило) собиралась именно туда. С соседом этой приятельницы я стала встречаться года через два. Он был красивый и сильный, чем-то напоминал моего отца, каким его помнила в детстве, за ним бегали девчонки. Не знаю сейчас, насколько сильно я его любила — наверное, я придумала эту любовь, но он принял ее как данность, и мы стали встречаться едва ли не каждый день. По утрам я ехала к нему на «Коломенскую», захватив сумку с продуктами, купленными по дороге, вспоминая маму, готовила и красиво накрывала на стол, потом мы ложились в родительскую кровать, предварительно сменив простыни, и уже после полудня, уставшие, ехали в свои институты на последние лекции. Потом мы созванивались вечером; если он уходил куда-нибудь с друзьями, я страшно нервничала, и он привык мне звонить, что бы ни случилось, в любое время. Родители также осваивались тем временем в Москве, потом отец начал ездить в командировки один, и мама плакала, его провожая.

На первый аборт меня тоже провожала мама — она и нашла врача и говорила, что самое главное — хороший укол, и потом ничего не помнишь, а после важно месяц не жить с мужчиной и для безопасности пользоваться таблеткой аспирина или борной кислотой, правда, помогает не

всегда (ну и намучилась я потом с этим аспирином!). Сама она сделала два аборта до меня и неизвестно сколько после — ничего не поделаешь, отец считал, что одного ребенка достаточно, да и как быть, когда такая жизнь.

Она оказалась права — после укола (пятьдесят рублей — надежная гарантия) я проснулась в палате, где женщины рассказывали о себе, о других, пугали и успокаивали друг друга одновременно. Когда я вернулась домой, меня ждал будущий муж — именно тогда он предложил пожениться, хотя зарегистрировались мы только через год.

Вскоре совсем неожиданно — на улице — я встретила Найку. Она была бледная, грустная и сказала, что ищет врача, нужно срочно сделать аборт. Виновником оказался Абдулла, который долго к ней приставал, пока Илоны не было дома, а потом изнасиловал. Надо, сказала Найка, сделать аборт тихо и быстро, потому что времени почти не осталось, и чтобы не знал ни муж (оказывается, она была замужем и жила почти рядом со мной), ни Илона. Идти в женскую консультацию исключено, там побреют, а врачей в Москве у нее нет. В тот же день мы пришли на прием к тому самому врачу, который делал мне укол. В больнице была другая смена, и он оприходовал ее прямо в кабинете женской консультации (ко всеобщему ужасу, наркоз на нее подействовал слишком сильно, и она не просыпалась целых два часа, и пациентки ломились в дверь, слабо мной успокаиваемые). Наконец Найка вышла. Зрачки ее были огромны, движения замедленны, но она была счастлива.

Свадьбу свою помню плохо, я была опять беременна: пока родственники пили за наше счастье, я бегала в туалет блевать и всё время боялась, что потеряю обручальное кольцо, которое было мне велико. Через месяц мы уезжали с мужем в Чехословакию, мама была счастлива («Прага — это маленький Париж, я читала»), отец ухаживал за моими подружками, но она этого даже не замечала. Отец сильно сдал, растолстел, у него болело сердце, но застолье по-прежнему было его стихией, и он радовался поводу.

Второй аборт был намного хуже первого — пропустили сроки, случились осложнения, и я была слишком слабой, когда мы наконец уехали.

Всё замужество прошло, как странный сон. Советская колония в Праге, слежка и недоброжелательность жен, рождение дочери (конечно, в Москве), нехватка денег, к которой я не привыкла, формальные встречи. Однажды в русском книжном магазине я купила томик стихов Мандельштама. Много дней подряд, пока муж работал, я, стирая, пеленая и сотворяя вкусную еду из дешевых продуктов, повторяла знакомые и незнакомые строчки и вспоминала Найку.

Пока мы сидели в Праге, разбился на вертолете под Нерюнгри мой отец.

Мы вернулись в Москву в 1991-м, летом. Магазины зияли пустотой, разительной после Праги, телевизор говорил непонятное. Мы с дочкой едва не стали жертвами августовских событий — наивно пошли в зоопарк, когда на улицы выползли танки. Помню Ельцина на открытой машине на Калининском мосту, помню крики толпы «Россия, Россия!», помню, как мы бежали к Садовому. Недавно услышала, как дочь рассказывает кому-то по телефону, что «возле ее уха пролетела пуля». Новая мифология, неведомое сознание. Москвой стали править деньги. Я видела это по знакомым мужа. Среди них были те, у кого деньги есть, и те, у кого их нет. У нас денег не было. Он начал бизнес — один, потом другой, всё неудачно. Мы всё меньше понимали друг друга. Однажды он упрекнул: «Ты меня ничему не научила».

После возвращения он начал пить. Не приходил домой по нескольку дней. Когда я застала его с другой женщиной, решила развестись. Мама, бабушка, считавшие, что семью нужно сохранить, отговаривали. Но было нечего хранить, я это понимала. Долгий процесс закончился уникально: в нашей с мужем квартире прописана его новая жена, «газовая женщина» из Ханты-Мансийска, старше его на десять лет. Они снимают большие апартаменты

в центре, а я с дочкой остаюсь здесь. Родительскую квартиру сдаю, и слава богу, есть на что жить.

Это случилось уже после смерти мамы.

Мне позвонила Найка и пришла с бутылкой кальвадоса. И рассказала свою жизнь. Она, разведясь с первым мужем, влюбилась и поехала за любимым в Афганистан, в армию. Их бомбили свои, он погиб у нее на руках, несколько суток не давали самолет. Ее ранило, и у нее никогда не будет детей. Найка сказала: пойдем на крышу. Крыши не было, но был козырек над магазином, над которым как раз мои окна, — и мы вылезли на козырек. Над нами в задымленном небе проступали звёзды.

— Знаешь, — сказала она, — они нас видят. Твоя мама и мой Серёжа, точно. Давай их не обижать.

И мы чокнулись кальвадосом.

Найка изменила мою жизнь. Я хожу на собрания в поддержку больных СПИДом и детей-инвалидов, помогаю ей собирать группу по поддержке детей Чечни и организации досуга беженцев и безногих афганцев. Найка страшно активна, и я рада ей помочь.

Однажды она привела ко мне Лёвушку, художника с Арбата и старого своего любовника. «Есть две вещи, достойные изумления, — так сказал он свой первый тост, — звездное небо над головой и внутренний мир внутри нас».

Лёвушка остался, и я удивилась тому, что я — женщина и готова желать и быть желанной. Он стал оставаться у меня всё чаще и получил ключ.

Однажды я долго не могла открыть дверь. Через некоторое время на пороге возникла совершенно голая Найка. Я не испытала ни ревности, ни обиды. Напротив, мы как будто стали еще ближе. И потом мы сидели втроем, смеялись и пили кальвадос и говорили о том, как нам хорошо вместе. Три товарища, лица уходящей эпохи.

Я живу теперь точно по расписанию. В восемь тридцать отправляюсь на работу — я служу в библиотеке имени А. Толстого, где я когда-то брала литературу к экзаменам, распоряжаюсь каталогом и выдаю читательские або-

нементы. Денег никаких, но мне нравится быть полезной тем, кто сюда приходит, к тому же иногда есть время почитать. После работы я еду в свою Тмутаракань (родительская квартира кормит нас по-прежнему), сажусь на кухне у окна и жду звонка Найки. Она непременно скоро придет…

— Найка, не страшно стареть?

— Да что ты, посмотри на американцев, у них вся жизнь начинается после пенсии. Женятся, путешествуют. Не хочешь крепенького американца?

— Да ну тебя!

— Напрасно, у них виагра — и всё в порядке.

— А душа?

— Душа, дорогая, только у нас.

Лёвушка нас не покинул, он обитает то у нее, то у меня — жить-то ему негде, бедолаге, а нам он не в тягость, и жаль его. У нас своя жизнь, не зависящая ни от него, ни от кого-то еще. Мы с Найкой сидим на кухне, пьем кальвадос, смеемся и плачем, читаем стихи и верим, что всё лучшее у нас впереди, непременно впереди. Ничто не нарушит нашей связи, нашей дружбы. И страшно подумать, что мы могли бы не найти друг друга в шуме и суете прожитых лет. Я верю, что это — тоже судьба.

Дай Бог нам дожить до лучших дней.

Ольгин ковчег

«Я бы хотела разбиться на самолете. Чтобы сразу».

Не помню, как у нас возник этот разговор, — дело давнее. Мы летели вместе куда-то, кажется, в неизвестный никому Спрингфилд в штате Иллинойс. Впрочем, нет, возвращались из этого Спрингфилда, куда до нас никогда не приезжали выступать русские, и на нас приходили смотреть, как на экзотические экспонаты.

Не помню, как звали пригласившую нас тётку: пожилая активистка, всю жизнь проработавшая клерком, у неё были ослепительно ярко-голубые глаза, не совпадавшие совершенно с тусклым обликом американской пенсионерки. Она выписывала феминистский бюллетень российско-американского женского диалога, из него узнала, что две русские приезжают на конференцию в Нью-Йорк, нашла средства привезти нас на два дня и даже заплатить гонорар.

Мы выступали в женском клубе, в музее и в местном Капитолии — уменьшенной копии вашингтонского. В туалете одна из слушательниц, извинившись, смахнула с моей щеки соринку, потом, во время кофе-брейка, что-то возбуждённо говорила спутнице, оглядываясь на меня, — мне показалось, она просто хотела потрогать русскую. Вечером мы оказались в гостях у нашей организаторши, в красивом стильном доме, и она говорила, что всегда мечтала писать стихи. О чём ещё — не помню; я тогда вообще не очень хорошо понимала по-английски, особенно обычные разговоры. Без Ольги пришлось бы трудновато: она поправляла мои неловкие тексты и особенно произношение.

С американкой Ольга тогда почти подружилась, поддерживала переписку, рассказывала мне о её судьбе: кажется, ничего особенного — обычная американская тётка, сохранившая романтические впечатления юности; хотела написать о ней в женский журнал, который мы издавали с американской коллегой. Так и не написала.

Она вообще многое не написала. Не успела? Не хотела?

Никогда не окончила университет, вообще не закончила высшего образования, что подчас мешало получить стипендию. Когда декан журфака предложил ей за два года пройти курс заочного и сдать экзамены, просто исчезла на полгода — не приезжала, не звонила.

Всякая системность, рамка, в которую надо было встроиться, ей претила. Системность в феминизме — в том числе. Это первым понял Хенри Дэвид (не помню его немецкую фамилию, первые пятнадцать лет его звали Ганс), психолог, эксперт благотворительного фонда, создатель Международного института исследований семьи, который помогал многим восточноевропейским учёным и активистам. Хенри был человек удивительной судьбы (например, его семью в самом начале Холокоста спас одноклассник отца, работавший в СС.) и поразительной мудрости. Дружил с Игорем Коном и Андреем Поповым из Ассоциации планирования семьи — Андрей нас и познакомил в Каире на ооновской конференции по народонаселению. Мы много с Хенри разговаривали — и в Москве, куда он часто приезжал, и в Бетесде, в его и Тэмы (между прочим, Тамары, в честь далёкой одесской бабушки) гостеприимном доме, где гостей из дальних стран всегда ждала уютная комната.

«Удивительная женщина. Абсолютно откровенная. Это очень необычно, я таких не встречал», — сказал он после интервью с Ольгой на тему абортов.

Она всегда откровенно говорила обо всём, не видела смысла не говорить.

Понятно, это нравилось не каждому.

«Осторожней с ней, она настоящая феминистка», — предупредила коллега, ведущая женского клуба, когда я сказала, что хочу ближе с Ольгой познакомиться. Тогда, в начале 1990-х, феминизм только входил в моду, возникала дискуссия в СМИ, создавались новые организации, им начинали давать гранты. Понимания новые идеи (на самом деле, как раз старые, но об этом мало кто догадывался) в ту пору не вызывали. Даже те, кто с радостью включался в соревнование за финансирование новых проектов, не всегда разделяли в глубине души радикализм идеологов движения.

Одна российская исследовательница проблемы сформулировала: «Мой феминизм заканчивается, когда я переступаю порог своей квартиры». Это же могли сказать о себе многие.

Но Ольга всегда жила так, как декларировала. И это меня в ней привлекало более всего.

«Бабушка русского феминизма», — говорила она о себе. Хотя, к слову, так же называли себя и кинокритик Елена Михайловна Стишова, и режиссер Рита Беляковская, и приехавшая ненадолго из австрийской эмиграции Наталья Малаховская, участница легендарных самиздатских альманахов «Женщина и Россия» и «Мария». Да и вообще, строго говоря, «бабушек» было много. Но Ольга даже от них стояла особняком. Узбекская режиссёр (и первая узбечка, окончившая операторский факультет ВГИКа) Умида Ахмедова закрепила за ней это звание в одноимённом фильме.

Ольга написала о феминизме и Санкт-Петербургском гендерном центре в первом выпуске моей полосы «Женщины» в «Независимой газете». И потом ещё писала не раз.

Писала она прекрасно. И переводила. У неё было какое-то фантастическое чувство языка, уважения к слову, к ритму. В слове она не терпела фальши так же, как в жизни. Как в песне.

Пела — как жила. И жила — как пела.

Мы познакомились в 1992-м в «Огоньке», на первой российско-американской конференции о современной русской культуре и субкультурах. Об Ольге Липовской я уже слышала — кстати, в том числе от Ясена Николаевича Засурского, который с ней встретился на конференции в Канаде и сразу же очень высоко её оценил. Потом я узнала, что они там поспорили, кажется, даже по вопросу о независимости Украины (дело было в 1988 году, и о «незалежності» ещё не особенно говорили в СССР). Я отвечала за конференцию и пригласила Ольгу на круглый стол о феминизме. Вообще, конференция была незаурядной: тут был цвет американской славистики (Катерина Кларк, Елена Гощило, Нэнси Конди, Григорий Фрейдин, Эрик Найман, Владимир Падунов); наши мэтры — Галина Андреевна Белая, Лев Александрович Аннинский; звезда нонконформизма Дмитрий Александрович Пригов и скандальный художник Олег Кулик; приехавшие из Екатеринбурга молодые критики постмодернизма Вячеслав Курицын и Марк Липовецкий; ещё не ставший директором Института современного искусства Иосиф Бакштейн, создательницы феминистского журнала «Идиома» Ирина Сандомирская и Наталья Каменецкая… Пиршество свободы, карнавал подходов и концепций, безудержная радость узнавания друг друга…

Весь журнальный корпус издательства «Правда» сбегался к лестничной курилке на нашем этаже посмотреть, как Елена Гощило курит трубку, наперегонки чиркали зажигалками. И заглядывали в зал редколлегии, где мы заседали — посмотреть на русскую феминистку и её молодого мужа. Ольга была ослепительно хороша, остроумна, и её молчаливый спутник в облике классического мачо благоговейно ей внимал в сторонке…

Память зацепила какие-то осколки, фрагменты, они разбросаны, как островки сохранившейся мозаики на разрушенных стенах античных дворцов и купален…

Когда именно я пришла в Гендерный центр впервые, позабылось. Помню, как ехала туда на трамвае, как пили

чай, что-то ещё, как приходили люди, самые неожиданные, как сыпался пепел, как обсуждали чьи-то истории, смеялись, что-то придумывали… Это был не научный институт, не учреждение, не чинная организация, а некий ковчег, куда прибивались те, кому повезло или кому некуда было идти; и безалаберный быт ограждал его обитателей от бед и будто плыл в волнах времени и расширяющегося пространства навстречу светлому миру добра и справедливости…

Не могу перечислить всех, кто тут бывал, заходил, жил, уходил и возвращался, выпивал, плакал, влюблялся, отчаивался и обретал надежду… Смешение лиц и статусов, которые здесь теряли всякий смысл, языков, характеров, принесённых сюжетов и книг — в этом было действительно что-то библейское, ветхозаветное, как будто тут складывались по слогам слова некоего нового устава мира…

Наверное, Ольгин вклад в формирование гендерной повестки дня в постсоветской России, в целом в развитие гражданского общества ещё будет описан и отмечен исследователями и историками. Для тех, кто её знал и любил, она, бесспорно, останется удивительным примером личной сопричастности глобальным и повседневным событиям того времени, в которое нам довелось жить. Останется будто живым подтверждением феминистского тезиса, что «личное — это политическое».

Вскоре после её ухода в интернете появилось выложенное кем-то видео старой, 1994 года, передачи о роли КГБ в жизни страны, о важности ограничений его всесилия. Участники — Старовойтова, Новодворская, Явлинский и Ольга, в то время активистка «Демсоюза».

К политике она относилась со всей страстью и искренностью, как к феминизму, как к своей семье (всегда напоминала о «пяти сёстрах Липовских», Ольга — старшая)…

В бога она не верила принципиально. Называла себя агностиком. Ненавидела попов. Любимой героиней её бы-

ла Мария Спиридонова. 8 марта 2017 года (я тогда специально приехала в Питер из Москвы — на один день, как в юности) мы вместе с Ольгой и финской журналисткой Айри Леппанен совершили концептуальную акцию — пошли в Петербурге в музей современной истории, на женскую выставку, посвящённую революции, и сфотографировались у своих любимых персонажей далёкой эпохи. У меня в телефоне осталась фото Ольги на фоне портрета Спиридоновой.

После выставки Айри повела нас в ресторан на углу Литейного, возле Ольгиного дома, грузинский. Много раз в нём бывали. Бывал там и мой папа, с которым у Ольги сложились с самого начала отдельные отношения — они часами могли у нас в Купавне говорить об истории, политике, обо всём.

У неё со многими складывались совершенно особенные отношения. Со мной — тоже, хотя её, по-видимому, раздражала моя «системность». Но наша дружба, завязавшись в 1992 году, оставалась нерушимой. Летом 2018-го мы дня на три засели в Купавне — я хотела, чтобы Ольга начала писать рассказы. Написала она в результате короткий триптих «Дорога домой», вошедший в сборник «Русский женский Декамерон». А её статья о Толстом «Глыба и Сонечка» до сих пор гуляет по интернету как образец радикальной феминистской критики.

У нее была физиологическая тяга к литературе, к слову — чувствовала все его закоулки, причём на любом языке. Помнится, как-то она подрабатывала переводчиком на журналистском форуме: один коллега произнес чрезвычайно запутанную и изобилующую словесной чехардой речь, и Ольга потрясла всех знатоков не только точностью перевода, но и тонкостью передачи смысла.

Её несла жизнь, увлекали страсти, как волны, по гребням которых она то парила, полная азарта и восторга, то пыталась ускользнуть от их ударов…

С мужеством, граничащим со стоицизмом, она приняла конец главного дела своей жизни — Санкт-Петер-

бургского гендерного центра. Себе не изменила — продолжала участвовать в дискуссиях, акциях. В последнюю нашу встречу в Питере мы ходили в какой-то молодёжный клуб обсуждать антидискриминационные рекламные ролики, собирались снова поговорить о том, чего были свидетельницами и участницами…

Последний раз она звонила мне 2 августа, в день рождения моего отца, недавно ушедшего. Мы договорились встретиться через пару недель. Ольга только что вышла из больницы, наметилась ремиссия, и её голос звучал бодро.

…На прощании, странном, тихом (и она лежала тихая, непривычно умиротворённая), собрались в том числе и незнакомые мне люди, те, с кем прошла её юность; многие приехали издалека. Племянник, сдерживая слёзы, запел Summer Time, и на миг показалось, что это не он, а сама Ольга своим низким красивым голосом в последний раз приветствует нас.

Вещая птица

К Лене Елагиной и Игорю Макаревичу меня привела Джейми Гамбрелл, это было 23 августа 1991 года. Лена с Игорем только что вернулись из Парижа, где была их выставка. До этого три дня мы вместе с Джейми провели почти неотлучно у Белого дома и в просторной квартире «бумажного архитектора» Иосифа Уткина, где она жила, в переулке у МИДа, в десяти примерно минутах ходьбы от места главных событий. Приехав туда вскоре после редакционной летучки утром 19 августа, застала Иосифа Бакштейна — он рассказывал о происходящем на улице. Втроем пошли к Белому дому. Приходили Ира Нахова, Катя и Слава Непомнящие, Марк Штейнбок, другие коллеги и друзья, русские и американские. Московское пристанище Джейми стало импровизированным информационным центром, здесь делились новостями, пили чай, переводили дух и бежали дальше.

Я курсировала между редакцией и Джейми, Бакштейн приходил каждые несколько часов. Многие материалы для самиздатского выпуска «Огонька», который начали готовить сразу же после закрытия демократических СМИ, рождались и обсуждались тут. Ночью мы с Джейми слушали прорывающиеся через помехи сообщения «Эха Москвы» у открытой форточки, где лучше ловился радиосигнал. Спустя несколько дней вернулись с дачи Уткины, они были невероятно удивлены тем, что их квартира стала мини-штабом.

О художниках-авангардистах Лене и Игоре, близких друзьях Джейми, я слышала ещё при первой нашей с ней встрече в Нью-Йорке. Видела их работы в журнале «Арт ин Америка», с которым Джейми сотрудничала, в других

публикациях. И как только они вернулись в Москву, Джейми перебралась от Уткиных на Большую Бронную.

На просторной кухне, заполненной сигаретным дымом и аппетитными запахами готовящейся еды, Джейми рассказывала о том, как мы провели судьбоносные три дня. Игорь внимательно слушал, склонив голову. Лена переспрашивала, всплёскивала руками, отбрасывала со лба волосы, вскакивала помешать что-то на сковородках, вытряхивала переполненную пепельницу, смеялась и сокрушалась… Она походила на большую умную птицу: свободный свитер, сигарета, падающая чёлка, невероятные огромные глаза, которые будто видят нечто, скрытое от прочих, и обезоруживающая улыбка… Не помню, кто ещё был тогда — люди приходили, сменяли друг друга. Эта квартира на несколько лет стала для меня одним из самых важных мест в Москве. И мой сын Дима, шестилетний в ту пору, вскоре полюбил этот дом: уплетал сырники и оладьи, которые готовила Лена, и важно рассказывал её маме Кларе Цезаревне о своём микроскопе и о том, что хочет стать отоларингологом…

Люди здесь были всегда. Маленький серьёзный Глеб и Клара Цезаревна относились к этому как к естественному проявлению жизни и, кажется, никак не тяготились присутствием гостей, подчас весьма продолжительным. Кто-то мог на часок прикорнуть на диване, а кто-то останавливался на несколько дней или даже недель, как Джейми; в эту квартиру на Большой Бронной заскакивали выпить кофе и перемолвиться парой слов перед выставкой или поездкой в аэропорт, приносили свои работы, приходили обсудить замысел столетия или просто поплакать, пожаловаться на жизнь… Здесь всегда слушали, утешали, давали совет — или вместе придумывали то, что потом становилось историей современного искусства.

Московский концептуализм был неотделим от этого дома. И не только потому, что Лена и Игорь в 1979-м стали членами группы «Коллективное действие» и все последующие годы оставались виднейшими фигурами аль-

тернативного искусства. Сама атмосфера их дома оказывалась питательной средой, плавильным котлом новых идей и смыслов, энергетическим пучком, силовые линии которого распространялись в пространстве, и оно стремительно, на глазах, расширялось (нечто подобное происходило в начале XX века в парижском кафе «Ротонда»).

Художники и писатели философы и журналисты, галеристы и музыканты, слависты и искусствоведы, аспиранты и профессора, русские, немцы, американцы, французы — все чувствовали себя в доме Лены и Игоря абсолютно в своей тарелке, спорили, читали свежие тексты, ругались и мирились, расходились и сходились снова… Здесь в конце 80-х был задуман клуб авангардистов «КЛАВА», а позднее — много других проектов, в том числе родилась идея архива неофициального искусства, который воплотился в «Гараже». У меня на глазах был задуман — и стал реальностью — Институт современного искусства, который возглавил Бакштейн, а Лена и Игорь приняли в его создании самое живое и решающее участие…

Андрей Монастырский и Ирина Нахова, Михаил Рыклин и Анна Альчук, Константин и Лариса Звездочётовы, Леонид Бажанов, Олег Кулик и Людмила Бредихина, Лев Рубинштейн, Владимир Сорокин, Сергей Волков, Дмитрий Врубель, Виктор Мизиано, Виталий Комар, Татьяна Диденко, Мария Чуйкова, Елена Романова, Елена Селина… Почти все активно причастные к теории и практике альтернативного искусства… Фотограф Михаил Михальчук запечатлел большинство из них в своей прекрасной чёрно-белой серии, и многие портреты сняты на Лениной кухне…

Лена была душой этого пёстрого мира, вбирающего в себя всё новых и новых людей, их голоса, их драмы. Её зоркий птичий глаз подмечал тончайшие нюансы настроений и отношений, её смех разряжал накалённую до предела атмосферу. Она не просто сопереживала, но и будто невзначай подсказывала выход…

А ещё — фантастически вкусно готовила: думаю, в голодные времена начала 90-х она просто физически поддержала многих. На кухне постоянно что-то жарилось или запекалось, пыхтело и шкворчало, варился кофе, Лена, зачастую не вынимая сигареты изо рта, ловко мастерила котлеты, вареники, оладьи. Ингредиенты супа или варенья были для неё чем-то вроде материала для мелкой пластики, она их преображала и радовалась преображению. Порой, наблюдая за её отточенными движениями, я представляла, как, помогая Эрнсту Неизвестному, она лепила голову Хрущёва.

Мы как-то незаметно и естественно сблизились и стали общаться вдвоём, без общих друзей, иногда вместе гуляли с детьми. Однажды пошли в Парк Горького вчетвером — Лена, Глеб, Дима и я. Дети захотели покататься на колесе обозрения, я возражала, и тогда Лена присоединилась к мальчишкам. Когда их кабинка поднялась на самую высокую точку, аттракцион сломался. Минут двадцать я металась вокруг колеса, пока его наконец не запустили снова. Дети остались весьма довольны приключением, а мы с Леной еле доползли до Большой Бронной.

Последний раз я побывала на Большой Бронной весной, вместе вспомнили тот давний случай. Мы нечасто, к сожалению, виделись в прошедшие несколько лет и не много говорили по телефону, но каждый раз встречались, будто разошлись вчера. Последний раз в августе по телефону обсуждали среди прочего мой сборник, я хотела попросить для новой книги Ленину работу «Куб Лепешинской», алхимический сосуд советского мифического эликсира бессмертия…

Лена никогда не считала себя ни настоящим мистиком, ни феминисткой. Относилась и к эзотерике, и к гендерным теориям с интересом, но спокойно, скорее, как к проявлению мысли и возможности новых метафор. Исследователи находят в их с Игорем объектах граничащие с мистикой фантастические сюжеты и аллюзии, а собственные её работы называют новым словом в жен-

ском искусстве конца XX — начала XXI века. На последней выставке Елагиной и Макаревича «Обратный отсчёт» (она открылась накануне пандемийного карантина 2020 года в Центре современного искусства на Гоголевском бульваре) работы Лены были размещены в залах флигеля. Почти все из них я хорошо помнила. Собранные вместе, они производили ошеломляющее впечатление: беспощадный анализ подсознания советской и постсоветской женщины, в котором, как в блендере, перемешаны осколки социального бреда, страха, униженности, предрассудков, мечты и быта, где прошлое и настоящее, сон и явь, чёрное и белое бесконечно меняются местами. И одновременно в этом было утверждение неостановимой текучести субстанций времени и пространства, перехода вещества в новые состояния, неостановимого рождения новой жизни из полусгнивших клеток, неизбежности преображения… Не знаю, феминизм это или нет. Совершенно точно, что, помимо мастерства и таланта, Лена обладала неким особым пониманием движения повседневности и истории, течения самой жизни и тайны преображения вещества. В том числе неизбежного прорыва из мрака, сутолоки, слизи и мерзости — к свету…

Светом она наполняла жизнь близких и не очень близких — с невероятной щедростью. Я бы не назвала её безоглядной оптимисткой, но всякий раз, в любой ситуации встреча с ней несла не то чтобы успокоение или обретение смысла, но некую лёгкость, возможность принятия себя, уверенность… Может быть, она делилась собственным ощущением, а может — как вещая птица, видела в каждом и каждой какую-то особую перспективу…

Нет сомнения, её роль в развитии культурной среды и вклад в современное изобразительное искусство — и в соавторстве с Игорем Макаревичем, и собственный — ещё предстоит изучать. Исследователи напишут новые книги, появятся сборники воспоминаний. У каждого знавшего и любившего Лену сложились с ней особые отношения. Нам всем невероятно повезло.

…Я смотрела на её профиль сквозь слёзы и дрожащее пламя церковных свечей, вглядывалась в лица — многих не сразу узнавала. Недвижимый в инвалидной коляске Иосиф Бакштейн (его привезла английская жена) вдруг открыл глаза и безумно всматривался в происходящее по другую сторону гроба. Эпоха уходила под воду, уже почти ушла, я чувствовала это физически так же, как ощущала неимоверно участившееся вдруг биение сердца. И поймала себя на том, что больше всего сейчас хочу рассказать об этом Лене. И ещё добавить, что за сегодняшним ужасом наверняка последует другое… Она бы поняла.

Вещая птица Лена, она подарила нам роскошь дружбы, радостное изумление открытия, сопричастности к неведомому прежде удивительному миру и — веру в то, что он непременно станет совершеннее…